

INSPIRIA

WINNER  
OF THE  
2021  
BOOKER  
PRIZE

# ДЕЙМОН ГЭЛГУТ ОБЕЩАНИЕ



В переводе  
Леонида Мотылёва



INSPIRIA

Loft. Букеровская коллекция

Дэймон Гэлгут

# Обещание

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.111-31(680)

ББК 84(6Южн)-44

**Гэлгут Д.**

Обещание / Д. Гэлгут — «Эксмо», 2021 — (Loft. Букеровская коллекция)

ISBN 978-5-04-174128-0

Роман-лауреат Букеровской премии 2021 года. История негодования, обновления и надежды. 1986 год. Глава семьи Свартов обещает умирающей жене, что их служанка Саломея, «доставшаяся их семье вместе с фермой», получит в награду за долгую службу дом, в котором живет. После похорон этот разговор быстро забывается, врезавшись в память лишь случайному свидетелю — Амор, младшей дочери Свартов. Но что может сделать ребенок? Проходят десятилетия, сменяются поколения, семья медленно разваливается, но выполнит ли хоть кто-нибудь данное когда-то обещание? «Личная драма, обладающая силой древнего мифа». — Wall Street Journal «Обжигающая история распадающейся семьи и сложной страны, нуждающихся в исцелении». — Publishers Weekly «В романе Гэлгута очень много от Вирджинии Вульф и Уильяма Фолкнера. Его любопытная манера повествования превращает фатальную семейную притчу в глубокую медитацию». — The New Yorker

УДК 821.111-31(680)

ББК 84(6Южн)-44

ISBN 978-5-04-174128-0

© Гэлгут Д., 2021

© Эксмо, 2021

## Содержание

Ма	7
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Деймон Гэлгут

## Обещание

*Сегодня утром мне повстречалась женщина с золотым носом. Она ехала в кадиллаке и держала в руках обезьянку. Ее шофер остановил машину, и она спросила меня: «Вы Феллини?» И этим своим металлическим голосом продолжала: «Почему это в ваших фильмах нет ни одного нормального человека?»*

**Федерико Феллини**

*Посвящается Антонио и Петруччо*

*с благодарностью за все их хлопоты, стряпню, поездки*

Damon Galgut

THE PROMISE

Copyright (c) 2021 by Damon Galgut



Фотография на обложке © Matheus Bertelli

Перевод с английского *Леонида Мотылева*



© Мотылев Л., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

## Ма

Из металлического ящика звучит ее имя, и в тот же миг Амор знает, что это случилось. Она с раннего утра была напряжена, в голове гнездилась боль, ее словно бы предупредило о чем-то сновидение, но о чем именно, она забыла. Знак или образ какой-то чуть ниже поверхности. Подспудный непокой. Подземный пожар.

Но когда слова произнесены, она им не верит. Закрывает глаза и качает головой. Нет, нет. Это не может быть правдой, мало ли что тетя сказала. Никто не умер. Это всего-навсего слово, ничего больше. Она глядит на слово, лежащее без всяких объяснений на письменном столе, как перевернутое кверху лапками насекомое.

Это стол в кабинете мисс Старки, куда ее позвал голос по громкой связи. Амор ждала и ждала этого момента так долго, воображала его столько раз, что он заранее сделался чем-то вроде факта. Но теперь, когда он настал взаправду, он кажется далеким и похожим на сновидение. Нет, этого не случилось на самом деле. Тем более с Ма, она всегда будет жива, всегда.

Мне очень жаль, повторяет мисс Старки, пряча крупные зубы за тонкой линией сомкнутых губ. Девочки поговаривают, что она лесбиянка, но представить ее в постели хоть с кем-нибудь затруднительно. Или, может быть, раз попробовала и заработала стойкое отвращение. Каждому из нас приходится нести свой скорбный груз, добавляет она серьезным тоном, а у тети Марины дрожат плечи, и она вытирает глаза платочком, хотя всегда смотрела на Ма сверху вниз и ей без разницы, что она умерла, хоть это и неправда.

Тетя спускается с ней вниз и ждет на улице, пока Амор идет обратно в жилую часть и собирает чемодан. Она прожила тут семь месяцев, ожидая, чтобы случилось то, чего на самом деле не случилось, и не было секунды, чтобы эти вытянутые холодные комнаты, эти полы, покрытые линолеумом, не внушали ей ненависти; но сейчас, когда надо уезжать, она не хочет. Хочет одного: лечь на свою кровать, заснуть и никогда, никогда не просыпаться. Так же, как Ма? Нет, не как Ма, ведь Ма не спит.

Она медленно укладывает вещи в чемодан, а затем тащит его вниз, к главному выходу из школьного здания, туда, где стоит тетя, разглядывая прудик с рыбками. Какая там большая одна, толстая ходит, показывает она в глубину, видела ты хоть раз такую крупную золотую рыбку? Нет, говорит Амор, хотя даже не смотрит, на что показывает тетя, да и не взаправду все это вообще.

Когда она садится в «крессиду», это тоже не взаправду, и, пока они плавно перемещаются по извилистой школьной дорожке, вид за окном какой бывает в сновидениях. Жакаранда цветет вовсю, фиолетовые цветки назойливо яркие, странные. Когда подъезжают к воротам и сворачивают не налево, а направо, ее собственный голос звучит гулко, будто это не она спрашивает, куда они едут.

Ко мне домой, отвечает тетя. Забрать дядю Оки. Ночью, когда, ну, когда это случилось, мне пришлось помчаться туда сломя голову.

(Этого не случилось.)

Тетя Марина скашивает в ее сторону свои маленькие обведенные тушью глаза, но никакой реакции у девочки по-прежнему нет. Разочарование взрослой женщины ощутимо со стороны почти физически, словно она тайком пукнула. Могла бы Лексингтона отправить в школу за племянницей, но решила все-таки поехать сама, нравится помогать в тяжелую минуту – кто этого не знает? За ее круглым лицом, накрашенным, как для игры в театре кабуки, скрывается жажда драмы, сплетен и дешевого зрелища. Одно дело кровь и предательство на экране, но тут реальная жизнь дарит настоящую, захватывающую возможность. Сообщить ужасную новость прилюдно, в присутствии директрисы! Но племянница, бессмысленное пухлявое нечто, и слова толком не вымолвила. С девочкой правда что-то не то, Марина и раньше

замечала. Молния – вот что виной. Ох-ох, вот жалость, она после этого так и не стала какой была.

Возьми сухарик<sup>1</sup>, сердито говорит ей тетя. Они на заднем сиденье.

Но Амор не хочет сухарик. Нет аппетита. Тетя Марина вечно что-нибудь печет и пытается скормить людям. Астрид, сестра Амор, говорит, это чтоб не только она одна была жирной, и надо сказать, что их тетя опубликовала две книжки с рецептами выпечки к чаю, книжки имели успех у определенной, весьма заметной сейчас, категории белых женщин постарше.

Ладно, думает тетя Марина, по крайней мере, говорить с ребенком нетрудно. Не перебивает, не спорит и, кажется, воспринимает, а большего и не требуется. Ехать от школы до Менло Парка<sup>2</sup>, где живут Лоубшеры, недолго, но время сегодня тягучее, такой день, и тетя Марина всю дорогу возбужденно говорит на африкаанс, говорит негромко и доверительно, со множеством уменьшительно-ласкательных слов, хотя источник ее речей не назовешь благородным. Тема обычная – то, как Ма предала семью, поменяв веру. Точнее – вновь обратившись к своей прежней вере. К еврейской! Ее тетя постоянно заводила об этом речь все последние полгода, пока Ма болела, но что Амор может с этим поделать? Она всего лишь девочка, какая у нее власть, и к тому же что плохого в обращении к прежней вере, если человеку хочется?

Она пытается не слушать, сфокусироваться на чем-нибудь другом. Тетя, когда садится за руль, надевает маленькие белые перчатки для гольфа – модное поветрие неизвестно откуда, а может быть, просто боязнь микробов, и Амор сосредоточивается на кистях ее рук, на их подвижных бледных силуэтах на рулевом колесе. Если получится не отвлекаться от этих рук, от этих силуэтов, от коротких тупых пальцев, то можно не прислушиваться к тому, что произносят губы над этими руками, и тогда это не будет правдой. Правдой останутся только руки и обращенный на них взгляд.

...По правде говоря, твоя мама только назло моему младшему брату ушла из Нидерландской реформатской<sup>3</sup> в свое еврейство... Чтобы ее не похоронили на ферме, где мужа похоронят, вот настоящая причина... Путь бывает верный и неверный, и твоя мама, к сожалению, выбрала неверный путь... Ладно, что поделаешь, вздыхает тетя Марина, когда они подъезжают к дому, давай просто понадемся на Божье прощение, может быть, она сейчас покоится в мире.

Они паркуются на дорожке под навесом – красивые зеленые, пурпурные и оранжевые полосы. Дальше – диорама белой Южной Африки: пригородное бунгало из красноватого облицовочного кирпича под железной крышей, окруженное, будто крепостным рвом, белесым садом. Детский спортивный комплекс, сиротливо стоящий на большой бурой лужайке. Цементная купальня для птиц, детский садовый домик, качели из половинки автопокрышки. В таком месте и вы, может быть, выросли. Откуда все пошло.

Амор следует за тетей, ступая не столько по земле, сколько по воздуху в нескольких сантиметрах над, да и вообще какой-то маленький зазор всю дорогу до кухонной двери между ней, Амор, и всем остальным, плывет голова. Внутри дядя Оки смешивает себе коньяк с колой, вторая порция за утро. Он недавно ушел на пенсию с государственной службы, был чертежником в департаменте водного хозяйства, а теперь влачит дома вялые дни, посасывая желтоватые усы курильщика. Жена, нагрянув, заставляет его виновато встрепенуться. У него был не один час, чтобы одеться как следует, но до сих пор на нем треники, рубашка поло и резиновые шлепанцы. Туповатый мужчина с редющими волосами, зачесанными вбок и набриолиненными. Он заключает Амор в липкие объятия, из-за чего обоим делается очень неловко.

Сочувствую твоему горю, говорит он.

---

<sup>1</sup> Сухарики из дважды запеченного теста (rusks) – традиционное угощение в Южно-Африканской Республике. (Здесь и далее – прим. перев.)

<sup>2</sup> Менло Парк – престижный пригород Претории, административной столицы Южно-Африканской Республики.

<sup>3</sup> Нидерландская реформатская церковь Южной Африки – крупнейшая кальвинистская деноминация в Южно-Африканской Республике.

Ничего, ничего, отвечает Амор и тут же принимается плакать. Что, ей весь день будут сочувствовать из-за того, что мама... это? Когда плачет, она чувствует себя уродиной, таким лопнувшим помидором, и думает, что ей надо выйти, срочно покинуть эту жуткую маленькую комнату с паркетным полом, лающим мальтийским пуделем и глазами тети и дяди, вонзающимися в нее, точно гвозди.

Торопливо проходит мимо сумрачного аквариума дяди Оки, дальше коридором со шерботой отделкой оштукатуренных стен, популярной в этих краях в эти годы, в ванную. Нет нужды останавливаться на том, как она смывает слезы, разве только упомянуть, что, все еще шмыгая носом, Амор открывает медицинский шкафчик и заглядывает внутрь, как она поступает в каждом жилище, где ей доводится бывать. Иногда находишь интересное, но эти полки полны унылых предметов – таких, как тубики с пастой для зубных протезов и свечи от геморроя. Теперь она чувствует себя виноватой, что посмотрела, и во искупление вины должна пересчитать предметы на каждой полочке и расположить их в более приятном порядке. А потом соображает, что тетя заметит, и снова все перемешивает.

Возвращаясь по коридору, Амор задерживается у открытой двери, ведущей в комнату ее двоюродного брата Вессела, младшего и самого крупного из детей тети Марины, единственного, кто до сих пор живет дома. Ему уже двадцать четыре, но после армии он так и не начал ничем заниматься – сидит дома сиднем и пестует свою коллекцию марок. Явно у него трудности с выходом в мир. Депрессия, считает его отец, а мать говорит, что он ищет себя. Но Па выразил мнение, что племянник просто избалованный лентяй и его надо насильно приспособить к какому-нибудь делу.

Амор не нравится двоюродный брат, особенно в эту минуту. Ей не нравятся эти большие бесформенные ладони, эта стрижка под горшок и сомнительная манера выговаривать букву С. В глаза, так или иначе, он не взглянет ни за что, а сейчас так и вообще едва ее замечает: на коленях у него открытый альбом с марками, и он всматривается через лупу в одно из украшений своей коллекции – в серию из трех в память о докторе Фервурде<sup>4</sup>, выпущенную через несколько месяцев после убийства великого человека.

Что ты здесь делаешь?

Твоя мама забрала меня из школы. Сейчас заехала за твоим папой и продуктами.

А... И теперь ты домой?

Да.

Сочувствую твоему горю, говорит он и смотрит на нее наконец. Она не может сдержаться, опять начинает плакать, приходится вытереть глаза рукавом. Но он уже снова переключился на марки.

Ты очень опечалена? спрашивает он рассеянно, так и не поднимая на нее глаз.

Она качает головой. В эту секунду она действительно ничего не чувствует, просто пустоту.

Ты ее любила?

Конечно, говорит она. Но даже этот вопрос ничего внутри не расшевеливает. Поневоле усомнишься, правду ли сказала.

Через полчаса она на заднем сиденье старого «валианта» дяди Оки. Дядя, одевшийся как на церковную службу – коричневые брюки, желтая рубашка, блестящие туфли, – сидит перед ней на водительском месте, уши оттопырены, сигаретный дым выводит письма на ветровом стекле. Рядом его жена – освежилась, sprysнула духами «жетем» и взяла из кухни пакет со всем необходимым для выпечки. Сейчас проезжают мимо кладбища на западной окраине

---

<sup>4</sup> Хендрик Френс Фервурд (1901–1966) – южноафриканский политический деятель, премьер-министр страны с 1958 по 1966 г. С 1910 по 1961 г. Южная Африка (официально – Южно-Африканский Союз, ЮАС) была доминионом Великобритании, с 1961 г. это независимая Южно-Африканская Республика (ЮАР). Фервурд считается архитектором системы апартеида. Убит в результате покушения в здании парламента ЮАР.

города, там небольшая группа людей стоит вокруг ямы, а неподалеку еврейское кладбище, где очень скоро, но нет, не думай об этом и на могилы не смотри, хотя волей-неволей видишь знак «Земля героев»<sup>5</sup>, но кто эти герои, никто ни разу не объяснил, а героиня ли Ма сейчас, нет, об этом тоже не думай, а потом окунаешься в ту жуткую зону цемента, автомоек и грязных на вид многоэтажек на другой стороне. Если ехать обычным путем, вскоре город остается позади, но обычным сегодня нельзя, потому что он мимо Аттериджвилла, а в этом тауншипе<sup>6</sup> беспорядки. Беспорядки во всех тауншипах, об этом вполголоса говорят везде, при том, что чрезвычайное положение висит над землей, как темная туча, и новости фильтрует цензура, а обстановка повсюду слегка наэлектризованная, слегка тревожная, и невозможно заглушить голоса, звучащие подспудно, похожие на тихое потрескивание радиопомех. Но чьи они, эти голоса, почему мы не слышим их сейчас? Тс-с, услышите, если только прислушаетесь, если будете чутки.

...Мы последний бастион на континенте... Если Южная Африка падет, Москва будет пить шампанское... Не будем ходить вокруг да около: власть большинства означает коммунизм...

Оки выключает радио. У него нет сейчас настроения слушать политические речи, куда приятнее просто смотреть на пейзаж. Он воображает себя одним из фуртреккеров, предков-первопроходцев, медленно движущихся в глубь этого края в фургоне, запряженном быками. Да, есть люди, чьи грезы предсказуемы. Оки, храбрый пионер, плывущий над равниной. Мимо под громадным небом Высокого Велда<sup>7</sup> тянется желто-коричневая местность, сухая повсюду, кроме тех участков, где ее прорезает какая-нибудь река. Ферма – так ее называют, хотя по-настоящему это не то чтобы прямо ферма, так, единственная лошадь, несколько коров, немножко кур и овец, – лежит среди невысоких холмов и ложин, на полпути к плотине Харт-биспорт.

В стороне от дороги, за забором, он видит нескольких мужчин с металлодетектором, они присматривают за тем, как туземные парни роют ямы в земле. Вся эта долина когда-то принадлежала Паулю Крюгеру<sup>8</sup>, и ходят упорные слухи, будто где-то под этими камнями во время Второй англо-бурской войны было зарыто золота на два миллиона фунтов. Так что копай здесь, копай там, ищи богатство прошлых лет. Да, алчность, но даже она ностальгически греет ему душу. Мой народ – доблестные, стойкие ребята, они перетерпели англичан, перетерпят и кафров. Африканеры – особая нация, он верит в это искренне. Не понимает, зачем Мани понадобилось жениться на Рейчел. Масло и вода не смешиваются. Видно по детям: недотепы, как на подбор.

По крайней мере в этой оценке он и его жена вполне сходятся. Марина невестку никогда не любила. Все в этом союзе было не так. Почему ее брат не захотел выбрать жену из своего племени? Я сделал ошибку, сказал он, а за ошибки надо расплачиваться. Мани всю жизнь был тупой упрямец. Пойти против своей семьи ради такой, много о себе понимающей, которая, конечно же, считай, бросила его под конец. А все секс, ну не мог он удержаться. Марина к этому занятию всегда была довольно равнодушна, если не считать одного раза в Сан-Сити<sup>9</sup> с тем механиком, но тс-с, тише, незачем об этом сейчас. С самого начала это было у моего брата слабым местом: едва начал бриться, превратился в юного козла, только развлекаться и проблемы множить, пока не сделал ту ошибку, которая все изменила. Ошибка где-то там сейчас, служит в армии. Сегодня утром ему дали знать, приедет только завтра.

<sup>5</sup> «Земля героев» – историческое кладбище в Претории, где похоронен ряд государственных деятелей.

<sup>6</sup> Тауншип – поселок или урбанизированный район в ЮАР, обычно расположенный на периферии города, с преимущественно чернокожим и малоимущим населением.

<sup>7</sup> Велд – обширные засушливые плато в Южной Африке. Высокий Велд, Средний Велд, Низкий Велд – его части.

<sup>8</sup> Пауль Крюгер (Стефанус Йоханнес Паулуус Крюгер, 1825–1904) – южноафриканский политический деятель, президент Южно-Африканской Республики (Трансвааля) с 1883 по 1900 г.

<sup>9</sup> Сан-Сити – фешенебельный курорт в Южно-Африканской Республике.

Антон вернется только завтра, говорит она Амор, а потом начинает подкрашивать губы, глядя в зеркальце на солнцезащитном козырьке.

Подъезжают к повороту не с обычной стороны, и Амор приходится выйти, чтобы открыть ворота и закрыть их за машиной. Затем тряско едут по грубому гравию, из него кое-где торчат камни и с металлическим скрежетом царапают днище автомобиля. Звук действует на Амор со скверной силой, будто вгрызается. Головная боль стала хуже. Пока были на открытой дороге, ей почти удавалось внушить себе, что она нигде, плывет себе и плывет. Но сейчас все органы чувств говорят ей, что еще чуть-чуть и они на месте. Ей не хочется в дом, там все станет очевидно, там нельзя уже будет убеждать себя, что ничего не произошло, что ничего в твоей жизни не изменилось навсегда. Ей не хочется, чтобы дорога вела себя так, как она себя ведет, не хочется, чтобы она, пройдя под опорами электропередачи, направилась к одинокому холму, а потом поднялась по склону, и ей не хочется видеть дом в ложбине на той стороне. Но он там, и она его видит.

Он никогда ей особенно не нравился. Странноватая была штукенция с самого начала, с той поры еще, когда дом купил ее дед: кому взбрело в голову тут, в сельской местности, строить в таком стиле? А когда дедушка утонул в водохранилище и дом унаследовал Па, он начал пристраивать и подстраивать вообще без всякого стиля, хотя говорил – это местное, народное. Логика в его планах не было никакой, но, по словам Ма, все дело в том, что он решил застроить первоначальный ар-деко, который считал изнеженным, женственным. Что за чушь, сказал на это Па, мой подход практический. Ферма должна быть фермой, а не фантазией. Но что у него получилось в конце концов? Не дом, а винегрет, двадцать четыре входных двери, которые все надо запирать на ночь, один стиль наклеплен на другой. Словно пьяница расселся посреди велда, напаялив на себя что попало.

Но все-таки, думает тетя Марина, это наше. Бог с ним, с домом, земля – вот главное. Да, бесполезная земля, сплошные камни, ничего на ней путного не сделаешь. Но принадлежит нашей семье, больше никому, и это дает силу.

И по крайней мере, говорит она мужу, его жена вышла наконец из игры.

И тут, о господи, вспоминает про девочку на заднем сиденье. Думай, Марина, прежде чем рот открыть, особенно в эти два дня, пока не пройдут похороны. Говори по-английски, лучше будешь себя контролировать.

Не пойми меня неправильно, обращается она к Амор. Я уважала твою маму.

(Нет, не уважала ты ее.) Но вслух Амор этого не произносит. Она очень жестко напряглась на заднем сиденье машины, которая наконец спускается с выключенным мотором к месту стоянки. Дяде Оки приходится, чтобы встать, проехать чуть дальше, потому что перед домом слишком много машин, незнакомых по большей части, что они тут все делают? Уже чувствуется тяга, действующая на людей и события, тяга, направленная внутрь, к сердцевине, к дыре в форме Ма. Выходя из машины, с глухим стуком захлопывая дверь, Амор видит в особенности один автомобиль, длинный и темный, и тяжесть мира усугубляется. Кто водитель этой машины, почему он поставил ее у моего дома?

Я сказала этим евреям, чтобы подождали ее увозить, сообщает тетя Марина. Так что ты можешь попрощаться с мамой.

До Амор не сразу доходит. Хруп, хруп, хруп, хрустит гравий. Через передние окна дома она видит толпу в гостинной, густой людской туман, а посередине ее отец, сгорбил на стуле. Плачет, думает она, но потом понимает. Нет, молится. Плачет Па или молится, нелегко отличить одно от другого в эти дни.

Потом до нее доходит, и она думает: я не смогу войти. Водитель темной машины ждет в доме, чтобы дать мне попрощаться с мамой, а я не смогу пройти через дверь. Если пройду, это станет правдой и моя жизнь навсегда переменится. Поэтому она медлит снаружи, а тем временем Марина цок-цок каблучками вперед с деловым видом, в руках пакеты с ингредиентами

тами, Оки шаркает внутрь следом, и тут Амор роняет чемодан на ступеньки и ну бежать за угол дома, мимо громоотвода и газовых баллонов в бетонной стенной нише, через мощный дворик позади дома, где у спящего на солнышке эльзасского пса Тодзио промеж задних ног видны фиолетовые яйца, через лужайку, мимо купальни для птиц и хлопкового дерева, мимо стойл и домиков за ними, где живут работники, со всех ног туда, где высится одинокий холм.

Где она? Шла ведь за нами.

Что она учудила, Марине просто не верится, глупая девчонка, черт бы ее драл.

Йа, соглашается Оки, а затем, рьяно желая внести свою лепту, повторяет: йа!

А, вернется. Марина не настроена великодушничать. Пусть эти люди прямо сейчас забирают бедняжку. Ребенку дали шанс, она его упустила.

Мервин Гласс, водитель длинной машины, два часа, не снимая ермолки, просидел в кухне, ждал указаний сестры вдовца, властной женщины, которая сейчас говорит ему, что пора отправляться. Очень трудная тут у них семья, он не может взять в толк, что происходит, но глянешь со стороны – не кажется, что ему что-то не по вкусу. Ждать в почтительном молчании – важная часть его работы, и он развил в себе способность изображать глубокое спокойствие, на самом деле его не испытывая. В глубине души Мервин Гласс неистовый человек.

Сейчас он вскакивает на ноги. Он и его помощник приступают к перемещению бранных останков из спальни наверху. Тут идут в дело носилки и мешок для трупа, а супруг в последнем приступе горя стискивает мертвую жену и умоляет ее остаться, как будто она уходит по своей воле и ее можно еще побудить отказаться от своего намерения. Необычного тут ничего нет, Мервин это подтвердит, если вы его спросите. Он видел такое много раз, замечал, помимо прочего, что труп обладает для людей диковинной притягательной силой. Уже завтра это переменится, тело увезут навсегда, и на его отсутствие наложатся планы, договоренности, воспоминания и время. Да, уже завтра. Исчезновение начинается мгновенно и в некотором смысле не кончается никогда.

Но пока что труп еще здесь, ужасающий телесный факт налицо, напоминание всем, даже тем, кто не слишком жаловал умершую, а таких всегда сколько-нибудь бывает, что придет день и они вот так же в точности будут лежать, опустевшие оболочки, не способные даже посмотреть на себя. И ум отшатывается от своего отсутствия, от великого холода пустоты, не может помыслить о себе, переставшем мыслить.

К счастью, она не тяжелая, болезнь выскоблила ее, и ее нетрудно спустить по лестнице, внизу там, правда, непростой поворот, а оттуда по коридору в кухню. Через заднюю дверь, командует властная сестра, а дальше вдоль боковой стены дома, не надо нести мимо гостей. Если до посетителей доходит, что ее увозят, то лишь благодаря вибрации воздуха, затихающему звуку запущенного мотора, который доносится от длинной машины.

И теперь Рейчел нет, действительно нет. Она пришла сюда беременной невестой двадцать лет назад и все эти годы прожила здесь, но никогда уже больше не войдет в этот дом, в эту дверь.

В гробнице... нет, простите обмолвку, в горнице, то бишь в гостиной, пошел на убыль какой-то невысказанный страх, хотя люди не очень-то понимают, почему, и мало что могут выразить словами. Чаще всего, однако, именно слова страх и оттесняют. Налить тебе еще чаю? А мои сухарики не хочешь попробовать?

Это, конечно, Марина, она отлично умеет умирять маслянистыми фразами бурные глубины, грозящие переплеснуться куда не надо. Говорит и крутит свое ожерелье.

Нет, я не голодный.

А это Мани, ее брат, он намного ее моложе. Он так глядит ей в глаза, как глядел соенок, которого она в детстве подобрала и держала у себя.

Ну что ты, выпей чайку хотя бы. У тебя обезвоживание от этих слез.

Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, говорит он с жарким напором, который звучит как озлобленность, хотя к кому он обращается? Вряд ли к ней.

Что случилось с этим совенком? Что-то плохое, смутно припоминает она, но что именно, вспомнить не получается.

Больше никогда не буду пить никакого чая, говорит он.

Да ну тебя, говорит она раздраженно, не болтай чепухи.

Она не может понять, почему он так тяжело переносит смерть жены, она целых полгода умирала, у него была уйма времени подготовиться. Но Мани расплетается на нитки, как нижний край его джемпера, она заметила, как он дергает шерстяную вязку.

Прекрати, говорит она ему. Сними и дай мне, я поправлю.

Он бессловесно слушается. Она забирает у него джемпер и идет искать иголку и нитку. Если Рейчел держит такое дома. Держала. Мысленная поправка приносит удовлетворение, как будто сустав щелкнул и встал на место. Рейчел всегда теперь будет в прошедшем времени.

Мани без джемпера пробирает дрожь, хотя день теплый, весна. Отгадывает он когда-нибудь или нет? Никогда при ее жизни не нуждался он в Рейчел так отчаянно, ее отсутствие – стальной холод у него внутри, в глубине. Она умела добраться до этой потаенной моей глубины своими маленькими ножичками, знала, куда воткнуть. Невозможно было отличить ненависть от любви, вот как близки мы были. Два дерева, сплетенные воедино, корни сцеплены, судьба. Кому бы не захотелось высвободиться? Но один лишь Бог может меня судить, только Он знает! Прости меня, Боже, я хочу сказать – Рейчел, прости, что моя плоть так слаба.

Опять в слезы. Марина видит его из другого конца комнаты. Она обнаружила наконец в ящике принадлежности для шитья и примостилась в углу, откуда может наблюдать за ходом событий, делая при этом что-то полезное. Шитье, выпечка – у нее хозяйственные руки. И тем не менее вид идущего со вновь налитой рюмкой мужа так ее отвлекает, что она тычет иглой себе в палец.

И тут вдруг, ни с того ни с сего, вспоминает, что случилось с совенком. Ох, жалость. Сгустки крови на белых перьях.

Вижу тебя, все вижу, окликает она Оки.

Но он фланирует себе дальше, на усах вкус коньяка, и думает про себя: заткнись, кто ты такая? Он забылся на пару минут, не помнит, почему он здесь, и спрашивает кого-то в гостиной: ну как вы тут, хорошо проводите время?

Что? переспрашивает гость.

Но Оки опомнился, собрался и стоит, покачиваясь. Ну, при всех обстоятельствах, говорит он.

Человек, с которым он разговаривает, – служитель-стажер в Нидерландской реформатской. Высокий и нервный, с выпуклым кадыком, этот служитель церкви за последний год почти полностью утратил веру, о чем знает он один. Он чувствует себя так, словно ковыляет по дикой местности, поросшей колючим кустарником, и вследствие этого очень много улыбается. В тот момент, когда к нему обращается Оки, он улыбается себе самому, раздумывая именно об этом, о своем теперешнем неверии, и заданный ему вопрос заставляет его виновато вздрогнуть.

Амор видит эту пару, своего дядю и клирика-маловера, через раздвижные стеклянные двери гостиной. С вершины холма она видит весь дом, все окна как на ладони, почему и любит тут сидеть, хотя не должна тут бывать в одиночку. Никогда еще внизу, на первом этаже, не было такого скопления людей, их фигурки перемещаются туда-сюда, как игрушечные человечки в игрушечном здании. Но на них она почти не смотрит. Ее взгляд притягивает одно-единственное окно, наверху, третье слева, и Амор думает: она у себя. Если просто сойду с холма и поднимусь по лестнице, она будет у себя в комнате, она ждет меня там. Как всегда.

И она видит кого-то в том окне, кто-то там ходит, хлопочет. Женская фигура. Если полукрыть глаза, Амор способна вообразить, что это она, мама, что Ма поправилась, набралась

сил и убирает лекарства с тумбочки у кровати. Больше не нужны. Маме намного лучше, время пошло назад, разрушенный мир восстановлен. Легко и просто.

Но она знает, что только лишь представляет это себе, а женщина в комнате – не Ма. Это, конечно, Саломея она была тут на ферме всегда, так, по крайней мере, кажется. Мой дедушка все время так про нее говорил. О, Саломея, я получил ее в придачу к земле.

Задержать на ней взгляд ненадолго, пока она убирает с кровати постельное белье, крепкая, полнотелая женщина в платье с чужого плеча, Ма ей отдала его не один год назад. Голова повязана белым платком. Ходит босая, подошвы потрескались, грязные. И на руках отметины – от множества порезов, ушибов. Вероятно, более-менее ровесница Ма, лет сорок, хотя выглядит старше. Точно по ней не скажешь. Лицо мало что показывает, она носит свою жизнь как маску, как высеченный из камня лик.

Но кое-что ты знаешь, потому что видела своими глазами. С таким же бесстрастным видом, с каким Саломея подметает полы и убирает дом, с каким обстирывает его обитателей, она ухаживала за Ма во время ее последней болезни, одевала ее и раздевала, обмывала ее, окуная мягкую ткань в горячую воду, водила ее в туалет и даже очищала ей зад после судна, вытирала кровь, гной и мочу, убирала кал, все делала, чем семья заниматься не хотела, слишком грязно или слишком интимно, пусть Саломея, ведь она деньги получает как-никак, правда же? Она была с Ма, когда та умерла, у самой ее постели, и при этом никто ее не замечает, она как бы невидима. И что Саломея чувствует, неизвестно, ее чувства тоже невидимы. Сказано – сделай тут уборку, сними простыни, постирай, и она слушается, убирает, стирает.

Но Амор-то видит ее через окно, значит, не такая уж она невидимка. И вспоминается кое-что, понятное только сейчас, это было всего две недели назад в той же самой комнате, Ма и Па забыли, что я тут, в углу. Не видели меня, как будто я вдруг стала чернокожей.

(Обещаешь мне, Мани?

Цепляясь за него руками скелета, как в фильме ужасов.

Йа, будь по-твоему.

Я очень хочу что-то ей дать, понимаешь? За все, что она сделала.

Понимаю, говорит он.

Пообещай, что выполнишь. Скажи внятно.

Обещаю, говорит Па полузадушенно.)

Она и сейчас видит эту картину, ее родители сплелись в одно, как Иисус и Его мать, в один жуткий горестный узел объятий и слез. А звук где-то в другом месте, выше и отдельно, слова только сейчас до нее доходят. Но становится наконец ясно, о ком они говорили. Конечно. Само собой. Еще бы.

Она сидит на своем любимом месте, между камнями, под обгоревшим деревом. Там, где я была, когда ударила молния и чуть не убила меня. Крак, белый огонь падает с неба. Как будто Бог показал на тебя перстом, говорит Па, хотя откуда ему знать, его же тут не было. Господень гнев горяч, словно карающее пламя. Правда, я не сгорела, только дерево молнией опалило. Ну, и мои ступни.

Два месяца в больнице потом. До сих пор подошвы чувствительные, и одного мизинца нет. Она притрагивается сейчас к этому месту, ощупывает шрам. Настанет день, говорит она вслух. Настанет день, когда я. Но мысль обрывается на полдороге, и то, что она сделает, когда настанет день, остается в подвешенном состоянии.

А прямо сейчас кто-то поднимается на холм с другой стороны. Чья-то фигура приближается, вырисовывается медленно, приобретает, словно одеваясь, возраст, пол и расовые признаки, и вот Амор видит чернокожего мальчика, ему тоже тринадцать, на нем обтрепанные шорты и футболка, на ногах треснувшие кеды.

Ткань футболок прилипла к потной коже. Отлепи пальцами.

Добрый день, Лукас, говорит она.

Привет, Амор.

Первым делом необходимо стукнуть по земле палкой хорошенько. Потом он усаживается на камень. Говорить друг с другом им легко. Не первый раз они встречаются здесь. Пока еще дети, но почти уже перестали ими быть.

Жалко твою маму, говорит он.

Она чуть не плачет опять, но все-таки не плачет. Когда такое произносит Лукас, ничего, потому что он, когда был маленький, потерял отца, его папа погиб на золотом прииске около Йоханнесбурга. Кое-что их роднит, получается. То, о чем она сейчас вспомнила, переливается через край, она хочет с ним поделиться.

Теперь дом будет ваш, говорит она.

Он глядит на нее непонимающе.

Моя мама сказала моему папе, чтобы отдал дом твоей маме. Христианин всегда держит слово.

Он смотрит вниз, на скособоченное строение по ту сторону холма, в котором он живет. На домик Ломбард. Так его все называют, хотя старая миссис Ломбард давным-давно умерла, а дедушка Амор после этого купил ее дом, чтобы им не завладели и не вселились индийцы, и пустил туда жить Саломею. Одни имена живучи, другие нет.

Наш дом?

Теперь он будет ваш.

Он моргает, по-прежнему сбитый с толку. Дом-то ведь и так всегда был его. Он в нем родился, он в нем спит, что эта белая девочка хочет сказать? Заскучав, он сплевывает и поднимается на ноги. Ей видно, какими длинными и крепкими стали его ноги, заметны жесткие волоски, растущие на бедрах. И запах его она тоже ощущает, от него крепко разит потом. Все это ново, или, может быть, ново для нее то, что она это замечает, и она уже смущена, еще до того даже, как понимает, что он смотрит на нее.

Что? спрашивает она, пригнувшись к поднятым коленям, обхватив их руками.

Ничего.

Он прыгает к ее камню, садится на корточки рядом. Его голая нога почти касается ее ноги, она ощущает тепло его кожи и колкость волосков, она отдергивает колено.

Фу, говорит она. Тебе помыться надо.

Он быстро встает и отпрыгивает к другому камню. Она жалеет теперь, что отогнала его, но не знает, что сказать. Он подбирает свою палку и опять наносит удар.

Ага, ладно, говорит он.

Хорошо.

Он спускается с холма тем же путем, каким поднялся, охаживая палкой белые верхушки травы, тыча ею в термитники. Пусть мир знает, что он тут идет.

Она смотрит на него, пока он не пропадает из виду, на душе у нее легче, потому что большой черный автомобиль уехал и большое черное, насевшее на нее, теперь отпустило. Потом она неспешно сходит вниз по другому склону холма, приостанавливается тут и там поглядеть на лист или камень, идет к своему дому, точнее, к дому, о котором думает как о своем. К тому времени как она входит через заднюю дверь, прошло сто тридцать три минуты и двадцать две секунды с тех пор, как она убежала. Четыре машины, включая длинную темную, уехали, одна новая появилась. Телефон звонил восемнадцать раз, дверной звонок дважды, один раз потому, что кто-то прислал цветы, невероятно, сколько их тут повсюду. Выпито двадцать две чашки чая, шесть кружек кофе, три стакана холодного питья и шесть порций коньяка с колой. В трех туалетах внизу, не привыкших к такой загруженности, спускали воду в общей сложности двадцать семь раз, в канализацию ушло девять и восемь десятых литра мочи, пять и две десятых литра кала, рвотная масса из одного желудка и пять миллилитров спермы. Цифры щелкают и

щелкают, но что толку в математике? В жизни каждого человека на самом деле всего только по одному.

Беззвучно войдя в кухню, она слышит голоса поодаль, но в этой части дома все тихо. Поднимается по лестнице на второй этаж. Отправляется по коридору к своей комнате. Но вначале там дверь в комнату Ма, пустую сейчас, Саломея пошла стирать постельное белье, и даже зная, что то, чего не случилось, не случилось именно здесь, она должна, обязана войти.

Девочка глядит на мамины вещи. Она знает все это назубок: сколько шагов от двери до кровати, где выключатель лампы, как выглядит вихревой, похожий на начало головной боли, оранжевый узор на ковре, и так далее и так далее. Краем глаза она, кажется, видит в зеркале лицо Ма, но посмотрела прямо, и лица нет. Зато есть мамин запах, вернее, смесь запахов, в которой ей чудится мама, но на самом деле соединилось недавнее: рвота, ароматические курения, кровь, лекарства, духи и что-то темное, фоновое – возможно, запах болезни самой. Источаемый стенами, висящий в воздухе.

Ее тут нет.

Это говорит ее сестра Астрид, она каким-то образом засекла ее и пришла следом.

Увезли.

Я знаю. Видела.

Кровать оголена, на матрасе пятно неясной природы. Обе смотрят на этот насыщенный темный силуэт, как будто это карта нового континента, завораживающая и пугающая.

Я была при ней, когда она умерла, говорит наконец Астрид, ее голос подрагивает, потому что она говорит неправду. Она не была при матери, когда та умерла. Она была за стойлами, разговаривала с Дином де Ветом, парнем из Рюстенбурга, который иногда приезжает подрабатывать на ферме, чистить стойла. У Дина несколько лет назад скончался отец, и он помогал Астрид советами, пока ее мать умирала. Он простой, искренний парень, и ей приятно его внимание, часть более широкого мужского интереса, к которому она с недавних пор восприимчива. Так что с Рейчел Сварт, когда пришел ее час, были только ее муж, он же Па или Мани, и черная служанка, как, еще раз, ее зовут, Саломея, которая, ясное дело, не в счет.

Мне следовало там быть, думает Астрид. То, что она в это время флиртowała с Дином, лишь усугубляет ее вину. Она считает, ошибочно, что младшая сестра знает правду. Не только эту правду, но и другое. Например, что полчаса назад Астрид отправила в унитаз съеденный обед, как регулярно поступает, чтобы не потолстеть. Она подвержена подобным параноидальным страхам: подозревает иногда, что окружающие тайком читают ее мысли или что жизнь – хитроумный спектакль, в котором все, кроме нее одной, играют роли. Астрид – боязливая душа. Среди прочего она боится темноты, бедности, гроз, потолстения, землетрясений, приливных волн, крокодилов, чернокожих, будущего, разрушения общественных устоев. Того, что ее не полюбят. Того, что ее никогда не любили.

Но сейчас Амор снова плачет, потому что Астрид произнесла то самое слово, как будто это факт, а нет никакого факта, нет его, хотя дом полон людей, которых в нем быть не должно, которых тут не бывает в обычной жизни, по крайней мере всех разом.

Нам готовиться надо, нетерпеливо говорит Астрид. Ты должна переодеться, снять эту форму.

К чему готовиться?

Астрид не отвечает, и это досадно.

Где ты была? Мы все тебя искали.

Я на холм поднялась.

Ты же знаешь, тебе нельзя туда одной. А здесь ты зачем, в ее спальне?

Просто смотрела.

На что?

Сама не знаю.

Это правда, она не знает, просто смотрит, и все.

Иди переодевайся, приказывает ей Астрид, пробуя взрослый голос, поскольку место освободилось.

Нечего мной командовать, говорит Амор, но идти идет, просто чтобы избавиться от Астрид, которая, едва оставшись в комнате одна, берет замеченный на прикроватной тумбочке браслет, симпатичную маленькую вещицу из голубых и белых бусин. Она видела его на маме и примеряла на свою руку. Сейчас вновь надевает его себе на запястье, чувствует, как он уютно воспринимает ее пульс. Он всегда ей принадлежал, решает она.

Я некрасивая. Так думает Амор, не первый раз уже, глядя на себя в зеркало на обратной стороне дверцы шкафа. Она в нижнем белье, на ней маленький недавно купленный лифчик, ощущение набухающей плоти пока еще ново и причиняет беспокойство. Бедра стали шире, их утяжеление кажется ей чрезмерным, непристойным. Ей не нравится ее живот, ляжки, обвислость плеч. Ей все тело не нравится, как многим из вас, но по-особому остро, по-подростковому, и сегодня эта неприязнь еще явственней, гуще, жарче обычного.

В такие минуты внутренней стуженности воздух вокруг нее заряжается ясновидением. С ней несколько раз последнее время такое было: она пусть за миллисекунду, но заранее знала, что картина упадет со стены, что распахнется окно, что по столу покатится карандаш. Сегодня она отводит взгляд от своего отражения в зеркале, уверенная, что почерневший от огня черепаший панцирь сейчас поднимется в воздух со столика у кровати. Она смотрит, как он поднимается. Словно неся его глазами, она наблюдает, как он спокойно перемещается в середину комнаты. Потом позволяет ему упасть или, возможно, даже бросает его, потому что он с силой ударяется об пол и раскалывается на куски.

Этот черепаший панцирь, которого теперь, считай, не стало, – вещь из очень-очень небольшого, что она накопила. Все это она подобрала в велде: камень причудливой формы, крохотный череп мангуста, длинное белое перо. В остальном комната лишена обычных примет и признаков, в ней только односпальная кровать с одеялом, прикроватный столик с лампой, шкаф, комод. Деревянный пол ничем не застлан, стены тоже голые. Когда девочки здесь нет, комната похожа на неисписанную страницу, о хозяйке не сообщает почти ничего – и этим, пожалуй, сообщает о ней кое-что.

Когда она чуть позже спускается по лестнице, в руке у нее обломок панциря. Внизу по-прежнему туда-сюда ходят люди, она старается смотреть прямо перед собой и направляется к фигуре отца, который все еще горбится на стуле.

Где ты была? спрашивает Па. Мы так волновались.

Я была на холме.

Амор. Ты же знаешь, тебе одной туда нельзя. Зачем ты все время туда ходишь?

Я не хотела ее видеть. Поэтому убежала.

Что у тебя в руке?

Она протягивает ему кусок заскорузлого панциря, плохо помня в своем оглушенном состоянии, что это и откуда взялось. Выглядит как огромный старый ноготь с пальца ноги, фу, гадость. Опять подобрала там что-то. Вечно притаскивает всякую дрянь из природного мира. Он чуть было не бросает эту штуку на пол, но побуждение сходит на нет и он вяло, как она, держит обломок.

Подойди ближе.

Сейчас его уже наполняет нежность, громадная нежность к дочери, и глубокая и сентиментальная. Такая беззащитность, такое простодушие. Мое дитя, мое маленькое дитя. Притягивает ее к себе, и вдруг оба наплывом возвращаются в похожий момент семь лет назад, в белизну сразу после той молнии, в смутное полубодствование вслед за ударом. Он несет Амор с холма на руках. Спаси ее. Спаси ее, Господи, и я буду Твой навеки. Для Мани это было как схождение Моисея с горы, это был день, когда Святой Дух прикоснулся к нему и его жизнь

переменилась. Амор помнит иначе, для нее это барбекюшный чад от горелого мяса, жертвенная вонь в центре мироздания.

Холм. Лукас. Разговор. Вот зачем она спустилась к Па, спустилась, чтобы сказать, и она отстраняется от его рубашки, пахнувшей потом, горем и дезодорантом «брют».

Ты сдержишь обещание, говорит она. Ни ей, ни ему не ясно, утверждение это или вопрос. Какое обещание?

Ты знаешь какое. О чем тебя Ма попросила.

Па обессилен, скоро, кажется, весь рассыплется на песчинки. Йа, неопределенно говорит он, раз пообещал, значит, сделаю.

Сделаешь?

Ты же слышала. Он вынимает из кармана платок и сморкается, а потом смотрит на содержимое его складок. Убирает платок. О чем мы, собственно, говорим? спрашивает он.

(О доме Саломеи.) Но Амор тоже обессилен, и она опять утыкается ему в грудь. Она что-то говорит, но ему плохо слышно.

Что ты сказала?

Не хочу больше в школе жить. Ненавижу.

Он обдумывает это. Ты можешь туда не возвращаться, говорит он. Это было временно, пока Ма... пока Ма была больна.

Значит, я уже не буду там жить?

Нет.

Никогда?

Никогда. Обещаю.

Сейчас ей кажется, что она опустилась в какую-то глубину, что она в жаркой безмолвной подземной пещере. Как изменчиво ты, сердце. Дневной свет переходит в долгую предвечернюю желтизну. Сегодня утром умерла моя мама. Скоро уже настанет завтра.

Уставшему Мани уже хочется, чтобы она от него отлипла, и он должен подавить недостойное побуждение оттолкнуть ее. Его всегда тревожило ни на чем конкретном не основанное подозрение, что Амор – не его ребенок. Младшая из детей, незапланированная, она была зачата в средний период их брака, в самый неблагополучный, когда они с женой стали спать в разных комнатах. Не цвела у них любовь в то время, когда появилась на свет Амор.

Но, что бы ее ни породило, она, безусловно, часть Небесного плана. Невозможно сомневаться, что она послужила средством его обращения, когда Господь едва не забрал ее у них и Мани наконец открыл свое сердце Святому Духу. Вскоре после этого, в час углубленной молитвы, он понял, как ему поступить, чтобы очиститься. Он, Херман Альбертус Сварт, должен признаться жене в своих слабостях и попросить у нее прощения, и вот он взял и рассказал Рейчел все, не умолчав об азартных играх и проститутках, он вывернул перед ней душу наизнанку, но вместо того, чтобы высветлиться, его брак еще больше потемнел, вместо того, чтобы простить, она его осудила, она взвесила его и нашла очень легким, и вместо того, чтобы последовать за ним в долину света, она двинулась в другую сторону, обратно к своим. Да, пути Господни неисповедимы для нас всегда и везде!

Он поворачивается, сидя на стуле, и берет лицо Амор в руки, поднимает его к своему, вглядывается в ее черты, ищет какой-нибудь знак, который мог прийти только от его тела, от его клеток. Не первый раз с ним такое. Она испуганно смотрит на него в ответ из темных своих созвездий.

Он, кажется, хочет что-то ей сказать, но, к счастью, этому мешает, подойдя к ним, дуомени<sup>10</sup> Симмерс. Добрый служитель церкви пробыл здесь немалую часть дня, помогая молит-

---

<sup>10</sup> Дуомени (dominee, от латинского dominus, господин) – титулование духовного лица в Нидерландской реформатской церкви.

вой и советом важному члену общины. В годы исканий и вопросов после того, как Мани опалило Божьим огнем и он обратился наконец к истине, Алвейн Симмерс был его вожатым и пастырем. Строгость его церкви – опора и поддержка, не дающая мне упасть.

Боюсь, мне пора идти, говорит пастор. Но я вернусь завтра.

Он воспринимает Мани как замысловатое пятно, потому что зрение его слабеет, глаза пастора скрыты за толстыми затемненными линзами, и, куда бы он ни отправился, ему нужна чья-то рука. Нужен поводырь в буквальном смысле, Иисус – только метафора в этих обстоятельствах. Вот чем объясняется присутствие стажера, того, что промахнулся с верой, сейчас он старается расположить пастора под правильным углом для разговора.

Мани наконец получил повод отодвинуть дочь в сторону, он делает это аккуратно, словно она непрочный предмет мебели, и тут же о ней забывает. Я вас провожу до машины, говорит он. Медленно ведя двоих служителей церкви к выходу, он минует сервант со своей собственной фотографией в рамке, снимок сделан двадцать лет назад в Рептиленде, в его только что открывшемся парке пресмыкающихся. Создавал там все своими руками с первого дня, и это чувствуется по широкой улыбке молодого человека на фото. Мани в двадцать семь лет. Было время, когда на него многие зарились. С ним не соскучишься, веселится, дурачится без усталости, и неплох собой, не верите – взгляните на снимок. Длинный мягкий завиток волос на лбу, улыбка дерзкая, зубоскальная. Эдакий симпатичный хулиган. В каждой руке по злющей, смертельно ядовитой змее, в левой черная мамба, в правой зеленая мамба, а сам всюю, так что рамка тесна, лучится молодостью, здоровьем, уверенностью. Само собой, темные очки, оправка большая, блестящая, пышные бакенбарды того же медного оттенка, что и волосы на груди, торчащие из-под распахнутой рубашки. Плодовитый бычок на вольном выпасе, всем хотелось взять от него долю, и неудивительно, что Рейчел все ради него бросила. Потом переменила отношение, как и он к ней.

Снаружи пастор тянет Мани к себе и мнет в объятиях, одышливо, но по-мужски. Черпайте силу в Христе, говорит он ему на ухо. Бессмысленные слова, если вдуматься, но Мани отвечает, что так и будет делать, что будет черпать силу в Христе. Он давно уже в Нем ее черпает. Вы придете завтра? спрашивает он тревожно, не уверенный, что одного Христа будет достаточно, и пастор обещает прийти.

Потом они отъезжают от усадьбы, служитель-стажер за рулем, пастор рядом с ним. Во время ухабистой езды к воротам они молчат, хотя кадык на шее стажера ходит поплавающим вверх-вниз, как будто он хочет что-то сказать.

Только за воротами, когда повернули на гудрон, Алвейн Симмерс шевелится.

Чудесная семья, замечает он. И нет, этот человек не сломается.

Стажер, слушая, улыбается самому себе, потому что ему завидно. Не сломаться – возможна ли такая определенность? Не для меня. Не сегодня. Он даже не знает, сможет ли удержаться на этой дороге, когда ладони такие скользкие, ему даже для этого не хватает веры.

Пожилой пастор – крупный, рыхлый мужчина, его мелко вьющиеся волосы темно-русой волной уходят вбок. Он весь какой-то мятый на вид: его сестра Летиция, которая заботится о нем дома, не очень-то дружит с утюгом. Кожа его рук, шеи, лица всюду, где она видна, дряблая и морщинистая, и вам вряд ли захочется увидеть остальное, скрытое под одеждой.

Он от природы тяжеловат, но сегодня он особенно полновесен, потому что смерть Рейчел, женщины, чья рука была воздета против него с самого начала, да, упрямой, гордой женщины, не желавшей повернуть лицо к Господу, приблизила его к тому, чего он очень сильно желает. Не для себя, что вы, разумеется, нет! Для одной лишь Церкви и для споспешествования ее благим трудам. Я всего лишь инструмент. Но инструмент способен почувствовать, что путь наконец свободен, что ему, Алвейну Симмерсу, возможно, вскоре достанется вожаемый участок земли.

Попрошу вас заехать за мной завтра в четыре, решает он.

Мы опять поедem к... к этим людям?

Йа, мы снова посетим семью Свартов. Мои труды там еще не завершены.

К тому времени как солнце заходит за горизонт, а закат в этих местах впечатляющий, все посетители разъехались, остались только члены семьи. Дядя Оки сейчас немного накрепчен вправо, чему причиной, возможно, вес его скособоченной ухмылки, подпернутой только с одного конца. Они с Па сидят в гостиной и смотрят по телевизору новости, они тревожные отовсюду, со всей страны. Магнитная мина в Йоханнесбурге, войска в тауншипах. Время от времени Па не выдерживает и рыдает минуту-другую, как будто сокрушается из-за состояния Южной Африки. Оки – тот лишь потягивает из рюмки и ухмыляется.

На кухне Марина руководит черной служанкой, которой надо перемыть изрядную гору тарелок и чашек. Как же она медленно, тяжеловесно ползает, можно подумать, это она потеряла члена семьи. Такой день, а она ленится, непростительно, ее как валун надо катить, сама ничего не сделает без приказа, сил никаких уже нет. Раздосадованная, Марина в последний раз обходит дом, высматривает остатки еды. В столовой ей встречается Амор, которую она еще не имела возможности прижучить. Куда ты сбежала тогда? требует она ответа неожиданно злым для себя тоном, и само так получается, что она щиплет племянницу за руку, жестокость в ее ногтях вспыхивает неподдельная.

Амор охает, но другого ответа не дает, и Марина с сердитым удовлетворением стучит каблуками дальше, поднимается по лестнице на второй этаж. Входит в комнату Рейчел и, несколько секунд поколебавшись, закрывает окна и задергивает шторы. Какой-то слабый запах ей чудится в воздухе, примесь какая-то. Снаружи темно, поздний вечер.

Тот же вечер, но еще позднее, совсем уже ночь, звезды переместились. Луна – тоненький серпик, еле уловимо металлически подсвечивающий здешний пейзаж, все эти камни и холмы, создающие видимость чего-то почти жидкого, какого-то ртутного моря. Полоску шоссе время от времени медленно прострачивают передние фары машины, несущей откуда-то куда-то свой груз человеческих жизней.

В доме темно, горят только, если выразаться по-морскому, носовой и кормовой прожекторы, освещающие подъездную дорожку и лужайку, да еще единственная лампа оставлена внутри, в гостиной. В разных помещениях внизу почти никаких звуков, разве только изредка прошебуршит насекомое, а может быть, это грызун, или мебель скрипнет из-за крохотных расширений и сжатий в древесине. Шурх-шурх, тук-тук, скрип-скрип.

Но наверху, в спальнях, все беспокойно, все колыхнется. Матрас Па – не матрас, а плот, его мотает на волнах тягостных сновидений. Па принял седативный препарат, который прописал доктор Рааф, и потому его голова погружена чуть ниже поверхности, пропускающей к нему в преломленном виде надводные образы и картины. Во многих из них он видит свою жену, но не совсем такую, как прежде, чуть-чуть словно бы нетрезвую. Маленькая примесь в ней совсем другой личности, ему неизвестной. Как такое возможно? кричит он ей. Ты же умерла. Непростительные вещи ты говоришь, Мани, мне очень больно. Его сердце – выжатая, выкрученная старая тряпка. Прости меня. Прости меня.

Через стенку от него, на расстоянии протянутой руки, зыблется во сне Астрид. Она недавно потеряла девственность, познакомилась с парнем на катке, и секс провеваet ее насквозь, как золотой ветер. Боль забылась, ее вобрал в себя мерцающий свет вокруг колких от молодой поросли юношеских лиц, а сейчас, в этом сновидении, вокруг лица Дина де Вета прежде всего, губы у него вдруг розовые, каких нет наяву, и у нее трепещет что-то глубоко внутри, там, где все со всем встречается.

В гостевой спальне тетя Марина задремывает и просыпается, задремывает и просыпается. Едва начинает видеть сон, где она на пикнике с П. В. Бота<sup>11</sup> в каком-то старинном форте и

---

<sup>11</sup> Питер Виллем Бота (1916–2006) – южноафриканский политический деятель, с 1978 по 1984 г. премьер-министр ЮАР,

он кормит ее клубникой, беря ягоды толстыми белыми пальцами, как ее будит пинок. Дома в Менло Парке она не спит с Оки в одной постели, а сейчас он лежит рядом и дрыгается, как будто его сбила машина и он ждет врачебной помощи. Какие мысли, Марина, тьфу на тебя, но ведь на то они и мысли, они же сами собой возникают у людей, что тут сделаешь, тебе и гораздо худшее на ум приходило, о да, не без того. Ступня мужа прикасается к ее ступне, она отдергивает ногу. Ужасно, что тебя так корежит от того самого, что ты когда-то, пусть недолго, любила, или думала, что любила, или хотела так думать. Но, что бы там ни было, пожизненно скованы одной цепью.

На другом конце цепи Оки исполняет лежа какой-то медвежий танец. Ему не то чтобы снится что-то, он бредет, брызгаясь, по мелкой воде, но это вряд ли может сойти за сновидение, ничего существенного не происходит, только цвет все время меняется. Пузырь поднимается с морского дна и, лопаясь, превращается в кишечные газы, пущенные на женин бок, отчего она деревенеет и возмущенно раздувает ноздри.

А в конце коридора час за часом лежит в своей спальне без сна Амор. Не так уж необычно для нее, можете мне поверить: каждый вечер, прежде чем ей отчалить от берега, ум должен сперва отделиться от тела, лежащего на спине в кровати, и пройти в определенном порядке по некоторым предметам в разных местах. И, лишь когда это проделано, может она расслабиться настолько, чтобы выпустить себя из яви. Но сегодня это не срабатывает, впечатления дня слишком сильны, они теснятся, толкаются, сомкнутые губы мисс Старки, палка Лукаса стучит по земле, и больное место на руке, где тетя ущипнула, сколько же злости в этих пальцах, шлет во вселенную свою маленькую пульсацию боли, заметьте меня, я здесь, Амор Сварт, год тысяча девятьсот восемьдесят шестой. Вот бы завтра никогда не приходило.

Как знать, может быть, все эти грезы, все эти сновидения и слились бы воедино, образуя одно более крупное сновидение целой семьи, но кое-кого не хватает. В это самое мгновение он выходит из бронетранспортера «баффел» в военном лагере к югу от Йоханнесбурга, на нем коричневая камуфляжная форма, на плече винтовка. Из этой винтовки вчера утром в Катлехонге<sup>12</sup> он застрелил женщину, он и представить себе такого не мог никогда, и его ум с тех пор мало на что способен, кроме как вертеть и вертеть те секунды внутри себя в изумлении и отчаянии.

Сварт!

Йа, капрал?

Зайди к капеллану, он тебя зовет.

Капеллан?

Он никогда еще не разговаривал с капелланом. Только одно, думает, может быть, капеллан знает, что он сделал, и хочет об этом поговорить. Его грех каким-то образом сообщил о себе, он лишил человека жизни и должен за это расплатиться. Но я нечаянно. Нет, ты нарочно.

Она нагнулась за камнем, хотела в них швырнуть, и его вспышкой просквозила ярость, отзвук ее ярости. Он не раздумывал, он ее ненавидел, он ее уничтожил. Всё за несколько секунд, мгновенно, раз – и кончено, точка. А вот и нет, не кончено, никакая не точка.

Так что и после того, как он услышал те слова от капеллана, у него все равно на уме расплата. Моя мама умерла, это я ее убил. Я выстрелил и убил ее вчера утром.

Мы пытались с тобой связаться, говорит капеллан. Послали радиogramму. Мы думали, ты ее получил.

Он в кабинете капеллана, сидит по другую сторону стола. К стене клейким пластилином прилеплен христианский плакат, Я есмь Путь и Истина и Жизнь, но в остальной комнате тусклая и обычная, слишком обычная для чувств, которые в нем вышли на волю.

---

с 1984 по 1989 г. президент.

<sup>12</sup> Катлехонг – крупный тауншип в 28 км от Йоханнесбурга.

Я был в Катлехонге, говорит он. Там была ситуация.

Йа, йа, конечно. Капеллан – маленький суетливый человечек, из ушей у него торчат волосы. Он в звании полковника, но сейчас на нем только тренировочный костюм, лицо заспанное. Исполнив свой болезненный долг, он намерен снова на боковую, часы показывают три ночи ровно.

Вот увольнительная на семь дней, говорит он солдату-срочнику. Я скорблю о твоей маме, но уверен, она почитет в мире.

Юноша его, кажется, не слышит. Он смотрит в окно, в темноту. Мы должны были навести порядок, произносит он медленно.

Йа, конечно, иначе зачем ты здесь. Для этого и нужна армия. Капеллан в душе никогда не боролся с такими вопросами, ответы всегда лежали на поверхности. Не склонен ли парень к неповиновению, смутно думается ему. Может быть, семи дней мало? спрашивает он. Десять?

А... нет, говорит юноша. Нет, столько не надо.

Ну что ж, тогда ладно.

Моя мама, понимаете, перешла в еврейскую веру или, лучше сказать, вернулась туда, а они стараются хоронить своих побыстрее. В тот же день, если можно. Но ради меня они ждут до завтра.

Понимаю.

Это уже спланировано всё. Ведь сколько месяцев она умирала. Все просто хотят с этим покончить.

Ну что ж, тогда ладно, повторяет капеллан с неудовольствием.

Юноша встает наконец со стула. Моим родителям не надо было в этот брак вступать, говорит он. Слишком они разные.

Он бредет обратно к своей палатке по темным дорогам лагеря. Под брезентом ряды коек, на них лежат сотни таких же, как он. Моя мать умерла. Врата, через которые я вошел в мир. Назад пути нет, да и не было. Я застрелил ее вчера. Но я нечаянно. Но ты же этого не сделал, ты не убивал свою мать. Ты чью-то другую мать застрелил. Да, и поэтому моя должна умереть.

Он очень устал, сорок бессонных часов уже, но сна теперь и дальше не предвидится, до дому уж точно. Гори, потрескивай. Запал подожжен. В ноздрях постоянный запах горелой резины откуда-то изнутри него самого. Он подходит к своей палатке, там ждет койка, но он идет дальше, ему нравится, как стучат по дороге его каблуки. Сладких вам снов, солдатики, пока мимо топают минотавр. Ползет, грубый зверь, в Вифлеем – то бишь в Бетлехем, который во Фри-Стейт<sup>13</sup>.

В дальнем конце лагеря караульный. Такой же срочник, как он. Чего тебе тут? спрашивает, голос испуганный.

Я пришел за вашим золотом и вашими женщинами, говорит Антон. Почему-то на африкаанс, хотя слышно, что у того родной английский. На отцовском языке, навсегда мне чужом. Нет, я передумал, я иду к вам с миром. Отведите меня к вашему вождю.

Тебе нечего тут делать.

Я знаю. Знал с самого рождения. Он цепляется пальцами за сетку и повисает на ней. На гудроне желтый свет прожекторов и странные тени. По ту сторону ограждения площадка, на ней стоят военные машины, многие из них «баффелы» вроде того, в котором он был, когда это случилось. Вчера, всего лишь вчера. А сколько жизни еще перетерпеть.

Я потерял мать, говорит он.

Потерял?

---

<sup>13</sup> Герой соотносит евангельский Вифлеем, о котором говорится в концовке стихотворения ирландского поэта У. Б. Йейтса «Второе пришествие» («И что за чудище, дождавшись часа, / Ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме». – Перевод Г. Кружкова), с городом Бетлехем в ЮАР, в провинции Фри-Стейт.

Застрелил ее из винтовки, защищая страну.

Ты застрелил свою мать?

Как тебя зовут?

Бойль. Рядовой Бойль.

Ух ты, расчудесно. Он переходит на английский. Мы встречались уже. Ты не аллегория? Ты на самом деле? Боль – это фамилия? А имя у тебя есть?

Имя? Зачем тебе мое имя?

Он поднимает руки. Сдаюсь тебе, рядовой по имени Боль.

Ты в своем уме?

А как по-твоему? Ты же видишь. Нет, я не в своем уме. Моя мать умерла. Спасибо тебе за компанию, Боль. Увидимся.

Он, пошатываясь, идет назад той же дорогой, и разговор, как чаще всего бывает, пропадает безвозвратно, то ли растворяется в воздухе, то ли уходит в землю. Четыре часа спустя стрелок Антон Сварт девятнадцати лет от роду стоит на обочине шоссе около Альбертона в военной зоне посадки-высадки и ждет попутку. Он изможден, бледен. Красивый юноша, карие глаза, темно-русые волосы, а лицо тронуту чем-то таким, что никогда не оставит его в покое.

Звонит на ферму из телефонной будки в Претории. Восемь тридцать утра. Трубку берет Па, он плохо сообщает, это слышно. Не узнаёт голос Антона. Кто со мной говорит?

Это я, твой сын и наследник. Можешь послать за мной Лексингтона?

В ожидании машины он слоняется перед Южноафриканским театром, около бюста Стрейдома<sup>14</sup>. Ты на «триумфе» триумфально прибыл, обыгрывает он, садясь, марку автомобиля, это старая его шутка. Только на этой выдавшей виды машине Лексингтону позволено ездить, хотя не проходит недели, чтобы семья не посылала его в город с многочисленными поручениями. Лексингтон, съезди в магазин. Лексингтон, заberi мои занавески. Отвези это мадам Марине. Привези Антона из Претории.

Мне очень печально из-за миссис Рейчел.

Спасибо, Лексингтон. Он смотрит в окно на белое многолюдье на тротуаре. Город усов и военной формы, больших зацементированных площадей со статуями бурских деятелей. Помолчав, спрашивает, а твоя мама жива?

Да, да, она в Соуэто<sup>15</sup>.

А папа?

Он в Каллинане, на шахте работает.

Незнакомые жизни, непознаваемые. Лексингтон и сам иероглиф в своей шоферской фуражке и кителе. Он должен их носить, говорит Па, чтобы полиция видела: он не скелм, не отребье, он мой шофер. И по этой же причине Антону следует ехать на заднем сиденье, разграничение должно быть очевидным.

Почему ты этим путем поехал, Лексингтон?

Там беспорядки в тауншипе. Ваш папа сказал ехать длинной дорогой.

А я говорю, поехали короткой.

Лексингтон колеблется, не зная, кого слушаться.

Гляди, говорит он ему, у меня есть винтовка. Поднимает ее, показывает, потом кладет себе на колени. На колени, обложенные в военную форму.

Чего он не говорит, это что винтовка моя без патронов. Без них винтовка ничто, пустое железо. Она предназначена пули пускать – вроде той, что я бездумно всадил в нее вчера, вса-дил, она начала падать, и в этот миг моя жизнь дала трещину.

---

<sup>14</sup> Йоханнес Герхардус Стрейдом (1893–1958) – премьер-министр Южно-Африканского Союза с 1954 по 1958 г., убежденный сторонник расовой сегрегации.

<sup>15</sup> Соуэто – крупный тауншип около Йоханнесбурга. С 2002 г. – часть Йоханнесбурга.

Мне ехать назад, желаете?

Да, Лексингтон, пожалуйста.

Ничего не случится. И он очень-очень устал, ему не выдержать эту длинную круглую дорогу. Никаких больше длинных дорог для меня. Даже короткая его утомляет, навязывая в зубах обыденность ее, желтая трава промеж бурых камней. Как я ее ненавижу, эту жесткую, уродливую страну. Как не терпится уехать.

К тому времени как они доезжают до поворота на Аттериджвилл, он наконец начинает задремывать, первое за двое суток прикосновение сна. Маленькая толпа у дороги кажется размытой картинкой из сновидения. Ждут автобуса? Нет, бегут, кричат, что-то где-то происходит, но призрачно все, невесомо.

Все, кроме камня, который вдруг прилетает, его бросил мужчина, он лезет сюда из картинки, глаза кровью налиты, не сводит их с меня. Мир тут же делается реальным. Боковое окно вдребезги, от удара он ненадолго вырубается, потом, оклемавшись, видит несущуюся ленту дороги, Лексингтон гонит вовсю.

Ох, неприятно как, мастер Антон, хайи<sup>16</sup>.

(Никогда еще не называл меня так.) Жми, Лексингтон, просто жми давай.

Что-то мокрое течет в глаза, притронулся, посмотрел – красное. Только сейчас составляет все воедино, понимает, что случилось. И только сейчас начинает это ощущать, боль вздымается из темного угла, расцветает ярким цветком.

Яп-понский бог.

Вас к доктору отвезти, желаете?

К доктору? Он начинает смеяться, и очень быстро смех становится конвульсивным. Хочет, а над чем, сам не знает, ничего ведь смешного, может, в этом-то и шутка. Он часто вообще-то плачет, когда смеется, веселье и слезы у него почти одно и то же. Вытирает глаза. Нет, Лексингтон, спасибо, отвези меня, пожалуйста, домой.

У его отца, тети и дяди какой-то конклав в гостиной. Увидев его, они вскакивают, потому что кровь, он-то про нее забыл, а она продолжает течь по лицу, капает на форму и на винтовку, на бесполезную пустую винтовку.

Это пустяки, не волнуйтесь, камнем попали, ничего серьезного.

Я позвоню доктору Раафу, говорит тетя Марина. Тебе надо шов наложить.

Очень прошу, не поднимай кутерьму.

Какого черта, я же ему сказал в объезд, говорит Па. Почему он не послушался?

Я ему сказал ехать как обычно.

Почему? Почему ты вечно плюешь на мои указания?

Подумал, будет неопасно, говорит Антон и снова в хохот. Но даже тут, говорит, неумные туземцы бунтуют против своих угнетателей.

Слушай, перестань чепуху молоть, требует Оки, но племянник в ответ только пуще хохочет.

Никаких упоминаний о том, что привело его сюда, только сумятица и суматоха, порождающие в конце концов доктора Раафа, который приезжает, судя по всему, длинным путем. Марина права, Антону требуется шов, и врач накладывает его в кухне, не на глазах у чувствительных. И обнаружили мелкие осколки стекла от разбитого окна, доктор Рааф удаляет их пинцетом.

Он действует пинцетом с особой сноровкой, они с инструментом будто созданы друг для друга. Его движения точны и геометрически выверены, его одежда безукоризненно чиста. Его изощренная дотошность импонирует пациентам, но знай они, каким мечтаниям предается доктор Валли Рааф, мало кто позволил бы ему себя осмотреть.

---

<sup>16</sup> Хайи (hayi) – нет (на языке кóса).

На два дюйма ниже, и без глаза мог бы остаться, не без удовольствия замечает он.

У нас с семьдесят первого года метрическая система, говорит Антон.

Доктор Рааф взирает на него холодно, тонкие губы сжаты, туго пригнаны наподобие его швов. Свартами он в последнее время сыт по горло и был бы не прочь взять вот этого юношу и растворить в ванне с серной кислотой. Но на людях, увы, приходится соблюдать приличия.

Только после того как машина доброго доктора отъехала и скрылась из виду, делается тихо. Скоро полдень, весна, день жаркий не по сезону, и дом обволакивает жужжание насекомых.

Я мелькерт<sup>17</sup> испекла, говорит племяннику тетя Марина. Отрезать тебе кусочек? Она зашпиживает кожу на его талии, и кокетливо: очень уж ты худой.

Потом, говорит Антон.

Мы сейчас в это еврейское похоронное заведение, надо кое-что с ними решить. Поедешь с нами?

Нет, я посплю. Мне надо поспать.

Ему надо поспать. Двигаясь в каком-то белесом туннеле, где голоса снаружи едва слышны, он поднимается по лестнице в свою комнату. Медленно раздевается, бросая каждый предмет одежды на стул, будто часть самого себя. Идет в душ, кое-что из прошедших двух суток смывается, но он еле стоит на ногах. Толком не вытершись, залезает в постель и почти мгновенно засыпает, словно лампу погасили.

Только сейчас, с опозданием, когда уже все остальные бодрствуют, добавляет он свое сновидение в общий котел. Свободное от времени, потерянное, оно восходит из его головы струйками дыма, рисуя ими зыбкую картину. Он лежит в кровати, напоминающей его собственную, в длинном помещении, где много таких же кроватей, и через дверной проем в дальнем конце входит его мать. Она медленно приближается к нему, петляя между кроватями, и, подойдя, наклоняется и целует его в лоб прохладным поцелуем. Так в сновидениях возвращаются к вам умершие.

Дух Рейчел Сварт, в девичестве Кон, витает в доме и вокруг в смятенном состоянии. В иные моменты, когда свет или настроение благоприятны, она делается почти видима, но только для желающих видеть, да и то всего-навсего косвенно, сбоку, с краю. Некоторое время назад она бросила на Амор взгляд из зеркала, хотя вообще-то разглядывала обстановку своего ухода из жизни, с которым ей трудно свыкнуться. Дело обычное, умершие сплошь и рядом оказываются неспособны принять свое состояние, напоминая этим живых, но по чему именно умершие тоскуют, они не помнят, переход сопряжен с потерями, и они не узнают тебя, когда видят.

Эльзасец Тодзио наблюдает за ее появлениями и исчезновениями с легкостью, потому что он не вбил себе в голову, что это невозможно.

Она отводит кухонную занавеску, чтобы украдкой поглядеть на Саломею, секунда только, периферийный промельк.

Астрид кажется, что она ее зовет из своей комнаты дальше по коридору, опять помощь нужна, вечно в самый неподходящий момент, но, конечно же, это всего лишь ветер повернул створку окна.

Она привычно звенит монетками в своем кошельке, но, когда Мани подает голос из ванной, она не отвечает.

Прижимает холодные губы ко лбу спящего Антона.

В конце концов дом ей надоедает, и она перемещается на улицы Претории, мелькает там, где любила бывать. Плещет веслами на пруду в парке Магнолия Делл, пьет чай в кафе

---

<sup>17</sup> Мелькерт – молочный пирог, традиционное африканерское блюдо.

на Баркли-сквер. Глядит сквозь ограду птичьего заповедника Остина Робертса на печальную африканскую красавку, клюющую что-то блестящее на земле.

Ну, вы поняли уже. Она выбирает места, где ее дух в прошлом был гуще, но теперь она утратила плотность, стала акварельной женщиной. В толпе она малозаметна, просто некое лицо из многих. Большие расстояния преодолевает так, словно переходит из комнаты в комнату, ища что-то потерянное. Каждый раз появляется в другой одежде из своего гардероба, то на ней вечернее платье, то легонькое летнее, а то даже шаль, которую она купила однажды в «Тру-вортс» с правом возврата и вернула им на следующий день. На вид она реальна, иначе говоря, обыкновенна. Как распознать в ней призрака? Многие из живущих тоже зыбкие, блуждающие фигуры, эта слабость свойственна не только мертвым.

Под конец она оказывается в новом месте, она там точно не бывала, но только вот она уже лежит там голая на металлическом столе с бортиками, точная копия себя, но серая и холодная, как покойница.

Да она покойница и есть. Смотрит на себя, лежащую на столе, и начинает понимать.

Над ней уже пару часов трудится пожилая женщина-волонтер. Возможности тут не безграничны, ведь любая химия под запретом, самое важное – очистить тело. После этого омыть и обтереть уксусом. Это и ритуал, и здравый смысл, простая чистоплотность. Делается все с нежностью и с огромным уважением, на пожилую женщину, Сару, чье имя можно прочесть у нее на лацкане, это занятие действует умиротворяюще. Не за горами день, когда кто-нибудь будет прodelывать это со мной.

Чистота, простота, безыскусность, такими принципами она руководствуется. Вот человеческая фигура, сведенная к тому, что она есть. Сара облекла тело в тахрихим, в саван, обмотала вокруг него авнет, кушак, и завязала, но узел не вполне удался. Должен быть в виде буквы Шин, означающей одно из имен Всевышнего, но сегодня пальцы что-то плохо ее слушаются, артрит.

Оставить так или вздохнуть и переделать? Жизнь, особенно у Сары, это во многом вздыхать и переделывать. Материальный мир неподатлив. Терпение – форма медитации. Она уже двадцать два года, с тех пор как умер ее муж, подвизается как волонтер, готовит умерших к похоронам в Хевра Кадиша, в погребальной службе. Служить значит молиться. К тому же время быстрее идет. И новых людей встречаешь.

Она решает оставить так. Божье имя вышло не совсем удачно, но разве это важно? Никто ведь не увидит через крышку гроба. Что тут ужасного? Символ имеется, и ладно. Есть заботы поважней, например лицо. Ей не нравится облагораживать их лица косметикой, в смерти подобное украшательство еще более лживо, чем в жизни, но у этой состояние совсем нехорошее. Долго болела, бедняжка, руки в болячках, волос осталось немного, десны почернели, очень исхудала. Не подправить ее будет, пожалуй, неуважением, по фотографии, которую дали по твоей просьбе, видно, что она когда-то была красива. Да уж, дни человека – как трава.

В другой своей, публичной жизни Сара иной раз не прочь немножко показать себя, принарядиться, надеть кой-какие украшения, подрумянить щеки. Давным-давно, задолго до старости, она тоже могла привлекать, очаровывать. Мужчины замечали меня, о да, замечали. У нее бывают ностальгические минуты, и она достает свою собственную косметичку, чтобы чуточку восполнить ущерб. Вот так, моя дорогая, вот так. Тут немного румян, тут припудрить. И все, переусердствовать не хочется, правда важна, а в ее случае правдой было страдание. Теперь дарована милость. Отмучилась наконец. Пока, моя хорошая. Спи спокойно.

Напоследок она причесывает женщину, приводит в порядок реденькие волосы у нее на голове. Мягко и ритмично, эта часть ритуала обычно доставляет ей удовольствие, но сегодня нет-нет да прядка останется на расческе. Легчайшие, невесомые, едва существующие. Она собирает их в руку, чтобы потом положить в гроб. Тут все имеет значение, каждая капля, каждый волосок.

Под конец суровое выражение смягчается, лицо делается более добрым, более приемлющим. Даже дух Рейчел влечет к этому подобию, она стоит подле тела, лежащего на столе, озадаченно вглядывается в черты лица и пытается с чем-нибудь его соотнести. Старается держаться в стороне, хотя Сара в любом случае восприняла бы ее так же – как участок ослабленного зрения, где плавают пятнышки. Кажется, мигрень начинается. Она подвержена этим приступам, когда плоть под ее руками особенно неуступчива. Смотри, что ты сделала, говорит она женщине на столе, но молча, про себя. Мешаешь мне работать, отвлекаешь правдой своей. По правде говоря, отзывается Рейчел тоже молча, я не пойму, кто это такая. Где-то мы с ней пересекались, но где?

Да, определенно мигрень. Сара отходит, снимает резиновые перчатки, ищет суппозитории. Иногда они помогают, если вовремя. Нет нужды сосредоточивать внимание на фигуре старой женщины со спущенными трусами, засунувшей палец себе в задницу, в такие минуты она чувствует себя очень далекой от Всевышнего.

А в соседнем помещении, отделенный лишь стенкой в два кирпича, ждет на жестком стуле шомер, страж, с Книгой псалмов в руках. Высокий, костлявый, асексуальный на вид, на нем ермолка и молитвенное покрывало поверх кое-как сидящей одежды консервативного покроя. К своим обязанностям ему приступать уже скоро, но пока у него еще длится приятное подготовительное время, и он старается дать передышку своему необычайно деятельному уму.

А в комнате за дальней от него стеной близкие умершей совещаются с рабби Кацем, которому завтра совершать леваяя, проводы в последний путь. Он был духовным наставником Рейчел после ее возвращения к своим, так что это вполне естественно. Но с мужем-иноверцем и его сестрой он сегодня встречается впервые, хотя Рейчел очень много о них говорила, и надо вам сказать, уж простите за прямоту, что такой тупости я никак не мог ожидать.

Начинается-то все неплохо. С Мани тепло здороваются Рут, старшая сестра Рейчел, она утром прилетела из Дурбана.

Привет, Мани, говорит она. Это Клинт, вы его, конечно, помните.

Помнит, к сожалению. Клинт крупный, мясистый тип, играл в регби за «Вестерн Провинс»<sup>18</sup>, а сейчас у него стейкхаус в Умланга Рокс<sup>19</sup>. Здорово, Манни, как вы? говорит он, пожимая ему руку с ненужной силой. Выглядите вполне.

Мани, поправляет его жена усталым тоном человека, которому постоянно приходится поправлять. Рада вас видеть.

Йа, и я вас.

И это не полная неправда. Из родных Рейчел с этой Рут проще всего иметь дело, потому что она тоже вышла за иноверца и какое-то время провела в изгнании. Правда, сейчас, похоже, вернулась в лоно.

Но тут и Марсия, средняя сестра Рейчел, с мужем Беном, а с ними отношения куда более натянутые. Антагонизм с обеих сторон, ощущение какой-то застарелой раны, подробности забыты, а саднит и саднит. Еще и Оки подпортил дело, наткнулся на них снаружи и вместо соболезнований взял и ляпнул по ошибке: мои поздравления, а дальше Мани принялся винить их в том, что его жена вернулась в прежнюю веру.

Послушайте, два раза уже за последние полчаса сказал им рабби, семья Леви тут совершенно ни при чем. Рейчел сама того пожелала. По своей воле к нам попросилась.

Ну да, попросилась, когда ей промыли мозги, говорит Мани.

Успокойся, говорит ему шикса, сестра. Что доктор Рааф сказал, помнишь?

Я никому мозги не промывал, говорит рабби Кац. Это был целиком и полностью ее почин.

---

<sup>18</sup> «Вестерн Провинс» – профессиональный регбийный клуб в ЮАР.

<sup>19</sup> Умланга Рокс – курортный город на морском побережье поблизости от Дурбана.

Вот из-за кого, упорствует Мани. Марсии и Бену, на которых он показывает, неуютно, они ерзают на стульях. Встречу организовали именно они, первый раз за долгие годы все собрались в одной комнате, идея была смягчить напряжение перед завтрашним погребением, но вышло вон как.

Не стоит, милый друг, так разговаривать, говорит Бен, не глядя на Мани.

Послушайте, говорит Марсия, что мы тут делаем вообще? Я думала, мы постараемся найти общий язык, или я ошибаюсь?

Семья Леви – часть нашей общины, вставляет слово рабби Кац. Вполне естественно, что они ко мне обратились.

Искренне вам заявляю, говорит Марсия, что это Рейчел, только она. Явилась ко мне неожиданно-негаданно. До этого мы десять лет не разговаривали...

Из-за вас, милый друг. Так что не надо.

К вашему сведению, говорит Марсия, мы эту неделю скорби взяли на себя. По-хорошему, все это в ее доме должно быть, в доме Рейчел, – завешенные зеркала, свечи...

Скорби в нашем доме предостаточно, говорит ей Мани. Но мы скорбим как у нас принято, а не по-язычески. Потом он сдается, оседает, как палатка, в которой подломила стойка. Он знает, что они правы, это Рейчел к ним пришла, а не они за ней явились. Марина, пока ехали сюда, все уши ему прожужжала о том, как важно не заводить, когда он увидит этих Леви, и он с ней соглашался. Он и теперь согласен. Не их вина.

Глянцевитый маленький рабби тоже не виноват, но Мани хотелось бы все-таки его прочесть. В нем клокочет негодование из-за всего этого вообще, но сейчас в особенности из-за простого соснового ящика, в который эти собираются засунуть его жену, ведь это несправедливо, она куда большего заслуживает, зачем, спрашивается, он все эти годы платил похоронные отчисления?

Поймите, очень вас прошу, говорит Марина самым своим умиротворяющим тоном, не обращаясь ни к кому персонально. Моему брату трудно все это.

Да, безусловно, соглашается Марсия. Нам тоже трудно, верите вы или нет. Думаете, нам нравится тут сейчас находиться?

Марсия, предостерегающе говорит ее муж.

Я хочу только, едва не шепчет Мани, чтобы она лежала около меня на семейном кладбище. Есть какой-нибудь способ это устроить? Я могу пожертвовать деньги...

Рабби выпрямляется на стуле. Боюсь, что нет. Невозможно, потому что она хотела еврейского погребения. От наших традиций, мистер Сварт, нельзя откупиться.

Она не была настоящей еврейкой, говорит Мани. Не была в душе.

Откуда вы это знаете?

Йа, знаю, знаю. Моя жена находила много способов меня изводить, у нее к этому был талант.

Может быть, вам стоило получше к ней относиться, тогда бы она не обратилась против вас, говорит Марсия, вынимая без особой причины из сумочки кошелек и затем убирая его обратно.

Марсия, говорит Бен.

Нет, ну правда.

Мы топчемся на месте, говорит рабби, которому кажется, что он вот-вот заплачет. С тех пор, когда перед ним впервые возник Израиль как моральная проблема, его чувство справедливости не подвергалось такому испытанию.

Мани, поехали домой, говорит его сестра. Ты мучишь себя без толку.

Йа, хорошо, поедem. Всем теперь уже ясно, что эта встреча – зряшная трата времени. Рейчел похоронят с ее людьми, с ее покойниками, Мани, когда придет время, с его. Свартам самое лучшее сейчас вернуться на ферму и готовиться к завтрашнему.

Пока они едут, тело Рейчел опускают в последнее вместилище, крышку привинчивают – навсегда. Шомер здесь, и, когда другие служители уходят, он продолжает сидеть на своем одиноком стуле у стены, нараспев читая псалмы. Ибо умершие нуждаются в сопровождении до самого конца. В псалмах – квинтэссенция еврейства, сами эти слова несут в себе магию, но он тут единственный живой посланник от людей и, как всякий добросовестный представитель, относится к своему делу серьезно.

Иногда он улавливает присутствие умерших как шелест и легкий нажим на границе его чувств. Тогда обращает произносимые слова прямо к ним, посылает их из своего сердца в их сердца. Но сегодня, хотя он напрягает ум, открывая его вовне, никаких сигналов к нему не поступает. Комната, по его ощущению, пуста. Тем не менее он читает, и кто может знать, куда отправляются слова?

Вон они летят – выпархивают в дверь комнаты, дальше коридор, дальше в окно. Вон они поднимаются над городом и псалмовидной стайкой устремляются к ферме в поисках той, ради кого поются. Огибают холм и спускаются к лужайке, проникают в дом через заднюю дверь и на птичьих ногах пересекают кухню – словно бы свет слегка поменялся на какие-то секунды.

Антон поднимает глаза от стола, за которым сидит. Что это такое было? спрашивает.

Гм-м-м? Саломея на своем обычном посту перед раковиной, на него глядит ее отражение в окне.

Да нет, ничего. Показалось... Все еще отупевший от сна, он пьет крепкий кофе из кружки и ест кусок тетиного молочного пирога. Скоро сахар подействует, взбодрит его. Он притрагивается к стежкам на лбу, ему мешает их чужеродность, беспокоит пульсирующая боль в зашитом месте.

В молчании меж этими двоими нет ничего неуютного, тягостного. При ней он рос, делал первые шаги, младенец, потом золотой мальчик, потом то, что он сейчас, и она пеклась о нем всю дорогу. Когда был совсем маленький, он называл ее мамой и пытался сосать ее грудь, обычное для Южной Африки недоразумение. Секретов между ними нет никаких.

Вдруг на него накатывает злость, и он резко отталкивает блюдце с остатками приторного мельктерта.

(Вчера я убил такую же, как ты.) Как с армией покончу, я уеду за границу.

Йа?

Стряхну с себя эту страну, смахну ее пыль с обуви и не вернусь никогда.

Йа? Звон ножей и вилок. И куда отправишься?

О, ну, говорит он. На этот счет у него определенности меньше. Да мало ли куда.

Йа?

Я английскую литературу собираюсь изучать. Не здесь, за рубежом где-нибудь. После этого моя главная цель – написать роман. Потом, может быть, стану юристом или просто деньги начну зашибать, большие деньги, но вначале хочу попутешествовать, мир повидать. А ты, Саломея, не хотела бы мир повидать?

Я? Как бы я это могла? Она вздыхает и начинает вытирать тарелки большим полотенцем. А правда, спрашивает она, что я теперь мой дом получу?

А?

Лукас говорил с Амор на холме вчера. И она ему сказала, ваш папа отдаст мне мой дом. Я ничего про это не знаю.

Ладно, говорит она. Не обеспокоена внешне, хотя ни о чем другом не думала после того, как услышала. Быть владелицей дома, держать эти бумаги в руке!

Лучше спроси моего отца, говорит он.

Хорошо.

Он смотрит на ее непроницаемую спину, на которой он младенцем катался бесчисленное число раз, глядит, как Саломея перемещается туда-сюда вдоль разделочного стола, переносит стопки тарелок в шкаф.

Да, говорит он рассеянно. Спроси лучше его.

Вопрос насчет дома, пройдя путь от его матери к сестре, от сестры к Лукасу, от Лукаса к Саломее, теперь заронен в него крохотным темным семенем и потихоньку начинает прорастать. Он приходит ему на ум пару часов спустя в другой комнате на противоположном конце города в почти случайный момент – когда он застегивает рубашку.

Знаешь, что моя младшая сестра сказала Саломее?

Кто такая Саломея?

Женщина, которая... Служанка наша.

Разговор происходит в спальне на верхнем этаже просторного дома в зеленом пригороде. Антон обращается к полногрудой блондинке, школьнице выпускного класса, с которой только что взрывчато и по-животному совокупился. Налицо смятая постель, полураздетость, приятная истома в паху.

И что твоя сестра ей сказала?

Что мой отец пообещал ей дом.

А он и правда...

Что?

Пообещал?

Не знаю, говорит Антон, стоя перед туалетным зеркалом и ликвидируя все улики, застегивая незастегнутое и заправляя незаправленное, чтобы ни малейших подозрений не вызвать у матери Дезире, которая с минуты на минуту должна вернуться из парикмахерской. Он наклоняется рассмотреть в зеркале свой шов, сильное впечатление в очередной раз производит рана. Выгляжу теперь как солдат.

Не позволяй ему отдать дом служанке, негодуя говорит Дезире. Он развалится у нее.

По-моему, он и так развалюха. Но дело не в этом.

А вот и «ягуар» мадам, его мурлыканье распознаётся безошибочно, он приближается по дорожке и останавливается у дома, где присыпано гравием. Хорошо, что они на втором этаже, а то ведь занавески раздвинуты, и, будь они внизу, она вполне могла бы увидеть, как дочь второпях натягивает блузку, а ее дружок застегивает ширинку. Красноречивая была бы сцена.

Скорей, она уже здесь.

Иди, займи ее разговором! Скажи, я в туалете.

Ладно. Он расправляет покрывало на постели, оглядываясь на Дезире, но та исчезает за дверью туалета, размытое светловолосое пятно, и только. Никакого сравнения с образом, который он в прошедшие месяцы брал с собой в уединенные места. Леон, брат Дезире, – школьный приятель Антона, а она год за годом оставалась на заднем плане, младшая сестра всего-навсего, что с нее возьмешь, поменьше бы надоедала, но потом из-за определенных гормональных перемен он стал воспринимать ее иначе. Потребность трахаться как шимпанзе сейчас главенствует, и, безусловно, он явился сюда сегодня не из благородных побуждений. После того, как я узнал про Ма, только одно у меня на уме, забавно, вот ведь как оно работает, Эрос борется с Танатосом, хотя про секс не то чтобы думаешь, его претерпеваешь. Чесоточное, голодное дело в подвальном этаже. Пытка обреченных, неугасимый огонь. И все-таки, похоть похотью, он чувствует, что преследует внутри себя какую-то эмоцию, которую ему трудно назвать. Может быть, даже и любовь, хотя это бы его удивило. Успокоение он сегодня от нее получил, это точно. Да, лежать бы подольше меж ее пухлых волн в мире и безмятежности.

Вместо этого он крадется, встревоженный и с частичной эрекцией, по мягко застеленным и обитым коридорам верхнего этажа, где по обе стороны другие спальни и туалеты. Дальше

кабинет, виднеется край письменного стола, персидский ковер, торшер. Почему у мебели всегда такой невинный вид, что бы на ней ни происходило?

Тут, на втором этаже, ему находится не положено, приватная зона, и не в одном смысле. С Дезире он перестал быть девственником, она поэтому всегда будет для него источником чего-то особенного, но не только она возбуждает его в этом доме. Отец Дезире – влиятельный член кабинета министров, личность отталкивающая и морально и физически, человек с невинной кровью на руках, и Антон хотел бы ненавидеть его без всяких «но», однако чувствует, что в глубине души его волнуют внешние атрибуты власти. Гнусного вида охранники в будочке у входа, бюсты и портреты маслом преступников-колониалистов из крайне тенденциозно подаваемой истории страны, мимолетные упоминания известных и пугающих имен – все это ужасно, да, но и заводит, и самый памятный, самый громовой оргазм случился у него в кресле, где незадолго до того покоился зад министра юстиции.

Супруга этого обходительного мерзавца, мать Дезире, будоражит его совсем иначе. Этакая кукла-арийка прежних времен, миловидная, но всюду твердая, все поверхности мыты, пудрены, фиксированы и налечены, и тебя само собой тянет попытаться пробить ломкий наружный слой. Он сбегает по лестнице, влетает в кухню чуть раньше нее и стоит уже, прислонясь к разделочному столу, когда она входит через заднюю дверь, высекая высокими каблуками искры из плиток пола.

Какой сюрприз! Я еще снаружи подумала, не твой ли симпатичный автомобильчик тут стоит. Она подставляет ему щеку для прохладного поцелуя. Но что с твоей головой?

Военные дела. Камень, ничего серьезного.

Тебя отпустили подлечиться?

Нет. Мама умерла вчера.

Ох, Антон! Наконец это произошло... Она позволяет эмали дать крохотную трещинку, для имитации искреннего чувства этого хватает, прическа подрагивает от напряжения. Так печально. Но хотя бы ее муки окончены.

Да, хотя бы это.

Она кладет ладонь ему на щеку, и он едва удерживается от слез. Что это вдруг за малюсенькая брешь у меня, откуда она взялась? К счастью, его слабость затушевана появлением Дезире, свежеедетой, свеженадушенной, заново накрашенной губы.

Маман! / Майн шатц!<sup>20</sup> Чмок-чмок! После недавней поездки в Европу мать и дочь взяли моду обращаться друг к другу по-заграничному. Они одной породы, и Антону вспоминается прошлогодняя вылазка в Йоханнесбург, когда они кормили одна другую с ложечки мороженым, ворковали и помахивали крылышками, как горлицы на карнизе.

Маман, со своей стороны, очень расположена к Антону сегодня – или, по меньшей мере, жалеет его. Она бы не прочь помассировать ему плечи, но довольствуется мелкими навязчивыми заботами. Хочешь валиум от нервов? У меня есть в шкафчике. И я как раз собиралась открыть бутылку вина. Я понимаю, у тебя печальный день, так что ты, конечно, будешь отнекиваться...

Пожалуй, говорит он, я не откажусь от рюмки.

Ему следовало быть на ферме. Он никому не сказал, куда отправляется, он взял «триумф» без спроса, он знает, что отец будет очень зол, и все это веские причины, чтобы не торопиться пока еще домой, посидеть, глотнуть валиум и выпить рюмку, а то и две.

А на ферме в эти минуты затевается браай<sup>21</sup>. Утром, на обратном пути после встречи с этими, Па ощутил потребность прикончить что-нибудь живое. Теперь в дальнем конце лужайки поставили стол, а над велдом между тем кровавится закатное солнце, слегка напоми-

---

<sup>20</sup> Mein Schatz (нем.) – мое сокровище.

<sup>21</sup> Браай – южноафриканский вариант барбекю.

ная куски мяса, маринуемые в мисках. У жаровни присматривает за углями Оки. Его вклад! Мясо на решетке, пиво в руке, что еще нужно мужчине для душевного спокойствия? Салаты – женская работа, и, если прислушаться, можно услышать, как Марина распоряжается на кухне. Выйди это, нарежь то. Кто поставил ее верховодить над миром?

Кто-то и здесь открыл бутылку красного, и почти все взрослые отдают должное. Диковинная картина, этакое полупразднование на следующий день всего после смерти Ма, но, с другой стороны, питаться-то людям надо, жизнь продолжается. После вашего ухода тоже вскоре начнутся возлияния и зазвучат сальные шуточки.

Тут не только семья. Есть и кое-какие прибившиеся, в их числе дуомени Симмерс и его помощник. Пастор в расслабленном и разговорчивом настроении, он лучится в пространство и отпускает шуточки направо и налево. Личная нотка ведь каждому нравится. Проблема в том, что сам Алвейн Симмерс мало кому нравится за вычетом Па и тети Марины. Оберегаемый ими с флангов, он сидит под хлопковым деревом, глаза скрыты за этими его пуленепробиваемыми стеклами, а застолье длится, в вечернем воздухе скворчание и мясной дух.

Амор, сидя по ту сторону стола, смотрит и слушает, но говорит мало. У нее со вчерашнего утра еще не прошла голова, кажется, что на череп натянута какая-то тугая темная шапка. Рядом с ней Астрид, занимается своими ногтями, отодвигает кутикулы, покачивая ногой, обутой в сандалию.

Па задумчиво смотрит с небольшого расстояния на двух своих дочек. Но где еще один? Первенец, мальчик, на мгновение его имя вылетело из головы. Им всем положено сейчас быть здесь, всему его потомству, рядком сидеть, как птицам на проводах. Все имена с А начинаются, ну о чем они с Рейчел думали? Нам просто нравилось, как это звучит, вечно говорила всем его жена, хотя именно это звучание его сейчас и смущает. Если бы первого назвали иначе...

Где Антон? спрашивает он, внезапно почувствовав раздражение.

Астрид видит возможность посеять смуту. Тихонько укатил в «триумфе». Я видела.

Куда укатил?

Она выразительно пожимает плечами, но кое-кто легок на помине, вдали тускло засветились фары, показавшись из-за гребня. Хотя это, должно быть, происходит позже, потому что у всех уже еда на тарелках, компанию явственно выхватывает из темноты плывущий луч от машины, которая медленно приближается к дому. Фары гаснут, мотор умолкает, дверь автомобиля открывается и закрывается, и Антон, старательно переставляя развинченные ноги, идет к ним через лужайку. Колени у него не выпрямляются до конца, на лице мутная ухмылка.

Иные из собравшихся в таком же состоянии. Возьми себе мяса, предлагает ему Оки – слишком громко. Давай, присоединяйся к грешникам! Тетя Марина хлопает по соседнему стулу. Садись тут! Она видит, что ее чокнутый племянник, отцовская ошибка, сам совершил сегодня кое-какие ошибки, и ему, пожалуй, не повредит сейчас руководящая рука.

Мани с той секунды, как Антон появился, не спускал с него глаз. Он сумрачно кивает, узнавая свое бывшее падшее «я». Мило. Йа. Очень мило.

Ты о чем? Кидает на стол ключи от машины.

Твоя мама вчера умерла, а ты находишь время на вино и девок. Мило.

Девок? переспрашивает Оки с надеждой, рыская глазами в изумлении. Дуомени Симмерс бормочет что-то молитвенное, а Антон проскальзывает на сиденье, тихо трясясь от смеха.

Йа, насмехайся. Глумись надо мной. Все грехи заносятся в книгу, и в последний день...

И твои грехи тоже, дорогой папаша. Твои девки, твое вино.

Те дни миновали. И я облегчил свое сердце, я попросил прощения и исправился. Но ты-то! Посмотри на себя.

По другую сторону стола дуомени Симмерс неслышно вздыхает. Перед тем, как вернулся нечестивый сынок, он разговаривал с Мани, и беседа шла хорошо. Буквально через секундочку он намеревался подвести к важной теме, он чувствовал, что настроение как раз подходящее,

но теперь вторглась чуждая нота. Что-то в этом парне – никак имя не запоминается, Андре? Альберт? – что-то в нем не то.

Твой папа расстроен сегодня, доброжелательно говорит он. Из-за еврейских похорон.

Ты бы видел гроб, дешевка самая настоящая, подхватывает тетя Марина. С деревянными ручками!

А он-то ведь платил похоронные отчисления, возбужденно добавляет Оки. Двадцать лет платил!

Я только одного, стенает Мани, я только одного хочу, лежать рядом с женой до скончания веков. Я что, слишком многого прошу?

А ее закопают на еврейском кладбище, говорит Марина.

Это очень несправедливо, замечает пастор.

Почему несправедливо?

Твой отец говорит, что хотел бы похоронить твою любимую матушку здесь, на ферме. Где вся остальная семья, где и ему потом лежать. Там, где ей положено быть.

Где ее дом, добавляет Па.

Где настоящий пастор скажет истинное слово.

То бишь вы, говорит Антон.

Повисает молчание, перемежаемое шипящими вспышками жира, падающего в огонь.

Твой отец хотел бы...

Но она-то другого хотела.

Мертвые ничего уже не хотят! говорит или, скорее, кричит Па, потеряв ненадолго всякое самообладание. Делается тихо, разговоры смолкают, из-за чего жевание становится неприятно громким. Среди собравшихся воцаряется ощущение легкого стыда, ни на чем явно не сфокусированное, и проходит некоторое время, прежде чем застольные беседы возобновляются.

Мани в них теперь участия не принимает. Он сидит сгорбившись, уверенность, похоже, его покинула, хотя следует помнить, что днем он отправился в овечий хлев и убил ягненка, которого они сейчас едят. Да, перерезал ему горло, маленький живописный выплеск насилия посреди его беспомощности, отвел душу, ничего не скажешь. Уж такая она, людская жалость к себе, человек погружается в печаль из-за собственной утраты и не желает знать о чужих утратах рядом, причина которым он сам. Что ему до горя мамы-овцы? Но оно примешано к воздуху, как человеческое горе, его не смыть.

Амор кладет вилку.

Не будешь есть это мясо? интересуется Астрид.

Она качает головой, чувствуя рвотный позыв. Второй день ей не по себе, какой-то зуд, подташнивает, она вот-вот взбунтуется неизвестно из-за чего. Не идет из головы кое-что, недавно увиденное в отцовском парке пресмыкающихся. Кормление крокодилов, она пытается стереть эту картинку, но не получается, добрый пожилой дядюшка-служитель в костюме сафари горстями кидает белых мышей примитивным тварям, плавающим в бассейне. Цап, хрум-хрум. Хвосты свисают из ощеренной пасти, будто концы зубной нити. Что же мы такое, если нам надо пожирать другие тела, если мы без этого никак? С отвращением она смотрит, как Астрид тянется к ее тарелке и пропихивает кусочки плоти и жира меж лоснящихся губ в деловито жующий рот.

Это мамин браслет, говорит Амор.

Нет, не мамин. Мой.

Ма все время его носила.

Ты хочешь сказать, что я вру?

Антон ставит свою тарелку и аккуратно вытирает пальцы бумажной салфеткой. Между прочим, говорит он, ты, я слышал, отдаешь Саломее домик Ломбард?

Что? переспрашивает Па, хотя что-то в его памяти брезжит.

Ха! фыркает тетя Марина. Солнце пойдет вспять.

Антон поворачивается и смотрит на Амор, она слегка ерзает на стуле.

Па сказал...

Что я сказал?

Ты сказал, что отдашь ей дом. Дал обещание.

Ее отец ошеломлен такой новостью. Когда я это сказал?

Никакого дома эта служанка не получит, говорит тетя Марина. Нет, нет и нет. Мне очень жаль. Можешь выбросить это из головы прямо сейчас. Она начинает убирать со стола, хотя не все еще доели, люди клацают ножами и вилками, как зубами.

Па пускается в объяснения. Я и так уже плачу за учебу ее сына... Я что, должен всё ей обеспечивать?

Амор смущенно сникает, а ее брат улыбается и улыбается. Внезапно он наклоняется в сторону Алвейна Симмерса. Можно мне с вами потолковать минутку-другую откровенно?

Пастор разводит ладони в стороны. Разумеется, Алан, говорит он. Выкладывай.

Моя мама думала о смерти с ужасом, она отказывалась ее принять. Но о том, чего ей хочется, она все-таки говорила очень ясно. Желаний было немного. Так, кое-что. Одно из них – вернуться в свою веру и лежать там же, где ее родственники. Она определенно об этом высказалась.

Откровенность очень важна, говорит пастор хриплым голосом.

Лицо Па вдруг наливается кровью. Да что с тобой стряслось?

Я все время сам себя об этом спрашиваю.

Тебя не волнует, что ты в адском огне можешь когда-нибудь оказаться?

Это худшее, что можно себе представить, но Антон, как у него нередко бывает, реагирует приступом веселья. Я уже там нахожусь, говорит он, утирая слезы смеха. Чувствуешь, как несет жареным мясом?

Я ее супруг! Я лучше знаю, чем ты. Я знаю, во что моя жена верила.

Правда? А мне, во что я и сам-то верю, трудно понять обычно. Я одно хочу сказать, не ради ссоры, а только потому, что не стоит усложнять простые вещи. Тебе надо сделать, как она хотела. Всё надо исполнить. Включая обещание отдать Саломее дом, если оно было.

Не было его, говорит Па. Я никакого обещания не давал!

Амор, глядя на него, моргает в искреннем изумлении. Но ты же его дал, говорит она ему. Я сама слышала.

Да что с вами со всеми стряслось?! кричит Па, а затем встает, не без усилия почему-то, и идет на плохо гнущихся ногах в сад, бессвязно завывая.

Тетя Марина крутит свое ожерелье, и голос, когда она его подает, звучит придушенно. Плачет, говорит она. Ну, ты теперь доволен?

Доволен? говорит Антон, взвешивая это слово. Нет, я бы не сказал. Но мы все, пожалуй, будем довольнее, если я откланяюсь.

Уходя, он оставляет за спиной внезапный беспорядок, компания расстроилась, сосед полуобернулся к соседу, и вспыхивают небольшие споры. Частенько такое позади него последнее время. Поднимается в свою комнату, там все завалено книгами и бумагами, на стенах листочки с цитатами и памятками самому себе. Оттуда через окно на наружный подоконник, а с него хитрым маневром на крышу. Место, где он любит сидеть, на самом верху, там его обдувает ласковый ветер, внизу темная земля с разбросанными по ней огоньками.

Под одной из черепиц у него лежит пластиковый пакет, оттуда он сейчас достает недокурный косяк и зажигалку. Высекает огонек и пускает дым, и не успел даже затушить, а уже с наслаждением ощущает, как ум расслабляется, расходится вширь. Ага, так, так. Слава тебе, Господи. Я почти уже кто-то другой.

Антон, первенец, единственный сын. Помазанник, а на что – неизвестно, но будущее принадлежит ему. Чего ты желаешь? Путешествовать, учиться, писать стихи, вести за собой народы, он ни от чего не хочет отказываться, все это возможно, он хочет взять мир и съесть. Но, хотя его жизнь по-молочному чиста и нежна на вкус, какая-то крохотная кислинка однако же есть в глубине горла, всегда, кажется, там была. Откуда это створаживание? В сердцевине всего живет ложь, и я только что обнаружил ее в себе. Давай-ка начистоту. Что с тобой стряслось, дружище? Ничего со мной не стряслось. Все со мной стряслось.

Внизу, где жаровня, ему по-прежнему видны фигуры, люди жестикулируют, разговаривают. Последняя, еще не улегшаяся рябь от сумятицы, которую он устроил. Как же ты барахтаешься, как руками машешь бестолково, когда пытаешься устоять на ногах.

Между тем Алвейн Симмерс, с трудом поднимаясь со стула посреди всей этой неразберихи, потерял очки, и сейчас, охваченный паникой в гуще семейного скандала, он слышит, как они трескаются под его подошвой, словно чья-то кость переломилась. А без этих линз он слеп как крот, ткань бытия превратилась в размытое пятно.

Сибритц, зовет он. Сибритц!

Он обращается к своему помощнику, которого вообще-то терпеть не может, но Сибритц не отвечает. Расстроенный сценой, которой обернулся брааи, сценой, напомнившей ему его жизнь, ибо в кризисе, как в гармонии, все сопряжено со всем, он к этой секунде уже проехал в своей машине полпути до города. Он сыт по горло этой семейкой, он сыт по горло Церковью, и кем он особенно сыт – это пастором. Хватит!

Сибритц! Сибритц!

Ты оставлен в час нужды, Алвейн, где избавление твое? Только благочестивый муж подвергается испытанию, помни! Помощь явится, если подождать.

Не потеряй он остроту зрения, он мог бы увидеть одну фигуру, сидящую близко от него совсем неподвижно. Амор. Она не поднялась со своего места за столом, хотя все уже встали. За последнюю пару минут даже рукой не шевельнула, даже бровью не повела, так погружена в свои думы – или во что-то другое.

Она созерцает своего брата Антона, который смотрит на нее с крыши в ответ. Но она созерцает его скорее мысленно. Поражена им в каком-то смысле. Что он может так разговаривать. Что способен произносить такое. Как это, должно быть, здорово, когда ты мужчина! Она ощущает необычную тягу взять его за руку. Нет, не вести его никуда, просто держать. Или, возможно, быть ведомой.

Она привыкла быть для всех чем-то размытым, смутной кляксой на периферии зрения. Слишком юная, слишком глупая, чтобы принимали всерьез. И странная к тому же, странное дитя. Не как все и, может быть, с печальной судьбой, ее легко обойти вниманием. Но сегодня ее брат поглядел со своей высоты и, кажется, заметил меня.

Тем временем Алвейну Симмерсу наконец пришла на выручку тетя Марина, она предложила ему свою пухлую руку и предлагает новую порцию домашнего картофельного салата. Нет, благодарю вас, где мой водитель? Он как сквозь землю провалился. Служителя церкви мучат огорчения и газы, и он просто хочет сейчас домой, в маленький домик, где он живет с сестрой. Он так пылко этого желает, что даже топает ногой по траве.

Быстро выясняется, что Сибритц уехал. Лексингтон вас отвезет, говорит Марина и хлопает в ладоши, так что громко звенят браслеты. Лексингтон! Лексингтон!

Лексингтон торопливо выходит из задней двери дома, надевая фуражку. Йа, миссис Марина? Отвези пастора домой. Дуомени Симмерс триумфально отбывает, и вот уже они катят по шоссе к мерцающим желтым огням Претории, которые видит только водитель.

Скажи мне, спрашивает его пастор, сколько времени ты работаешь у этих людей?

Двенадцать лет, сэр.

Что ты о них думаешь, о семье этой?

Лексингтон колеблется, улыбается широкой нервной улыбкой, но безрезультатно. Они ко мне по-доброму, сэр.

Да, да, они к тебе по-доброму. Но что ты о них думаешь?

Нет, я ничего о них не думаю, сэр. Я только делаю, не думаю.

Лексингтон pokrивил душой, но правдиво ответить он не может. Пастор, он чувствует, чего-то от него хочет, но дать ему желаемое значило бы рискнуть рабочим местом. Не всегда возможно потрафить двум белым людям одновременно.

А я вот думаю о них всякое разное, говорит пастор. Что, не скажу, но думать думаю. Про этого сына особенно, как бишь его зовут. Адам.

Да, сэр, говорит Лексингтон, стараясь угодить собеседнику.

Что-то с ним не то. Помяни мое слово. Он как дикий осел, как Измаил. Руки его на всех, и руки всех на него!

Дуомени Симмерс раздражен сегодня вечером, какая-то закавыка в душе, и в таких случаях его всегда тянет на библейское. Господне творение укрупняется, когда говоришь о нем величавым слогом.

Ну что за страна! восклицает он. Он не вполне понимает, в чем и почему страна виновата, но тем не менее повторяет еще раз. Ну что за страна!

Да, сэр, отзывается Лексингтон, и какое-то время они пребывают в искреннем согласии, Южная Африка тревожит обоих, хотя по разным причинам. Алвейн Симмерс ощущает эмоциональную близость к чернокожему соотечественнику, ему видится, что они равны пред Божьими очами, хоть и всегда должны сидеть в машине на разных сиденьях. Бог так определил, подобно тому как Он определил, чтобы Рейчел умерла в тот час, в какой она умерла, и чтобы ее дом наполнили скорбящие по ней, и Он пожелал также, чтобы в других помещениях сыновья и дочери Хама трудились на благо своих начальников и начальниц, кололи дрова, качали воду и в целом обеспечивали существование тех, кто несет тяжелое бремя лидерства. Бремя, от которого иные не прочь уклониться, да минует меня чаша сия, но нет, если это твоя чаша, ты обязан из нее пить, сколь бы горек ни был осадок, с Богом не спорят.

Летиция хранит дома запасные очки для брата на подобный случай, и следующее утро пастор, вернув себе, насколько возможно, зрение и мешая ложечкой сахар в первой чашке кофе, встречает в гораздо лучшем настроении. Чем больше он размышляет о событиях прошлого вечера, тем радужней выглядят его перспективы. Семейный раздрай может пойти ему на пользу, не исключено, что это сам Господь так устроил, Мани теперь еще больше отдалится от своих неблагодарных детей и, возможно, будет более склонен проявить щедрость вне семьи. Но ситуация может измениться, действовать надо быстро. Самое лучшее – прямо сегодня! Правда, сегодня похороны, жену Мани предадут земле. Кстати, который час, это, может быть, уже происходит, пока мы тут беседуем.

Да, происходит, не будем отрицать. Тесное помещение, такое же простое и голое, как ее гроб, наполнено людьми. Рейчел была общительна, друзей у нее хватало, но скамьи заполняет по большей части еврейская ветвь семьи. Как африканеры в этом отношении, нет клея гуще, чем кровь. С большинством из них она не встречалась и не разговаривала годами, так что они были, можно сказать, незримы. Но сегодня все они здесь, скопления лиц, которых ты не видел много лет, иной раз к лицу прицеплено нестерпимое имя, тети, дяди, двоюродные сестры и братья с потомством и родичами. Мать Рейчел, твоя злейшая врагиня, увидев тебя, резко отворачивается, никакого снисхождения даже сейчас.

Мани сутулится, хохлится против них всех. Слишком много всего произошло, невозможно делать вид, что ничего существенного. Поздно вечером он долго, истово молился, и это, он верит, Господня воля, чтобы я тут был, чтобы я помиловал и дал пример христианского поступка. Вера означает борьбу с собой, ты не можешь просто ненавидеть их, и всё. Но трудно это ему, гораздо трудней, чем он воображал, трудно сидеть среди этих, которые

забрали ее у меня, с их странными обычаями. Зачем они рвут на себе одежду, зачем требуют от меня, чтобы поверх сердца была черная лента, а на голове ермолка? Почему они все желают мне долголетия? Он не хочет никакого долголетия, сегодня уж точно, он хочет, чтобы жизнь была покороче, хватит с него уже. В частности, он охотно бы распрощался со следующими ее несколькими часами, возьмите их себе, берите на здоровье, мне они не нужны.

Его собственное племя куда скромней численно. Тут партнер по бизнесу Брюс Хелден-хейс, пара друзей-прихожан. Плюс семья, разумеется, хотя Мани нарочно посадил между собой и своими детьми Марину, чтобы сын был подальше. Он даже взглянуть на Антона не в состоянии. То, чем обернулся вчерашний браай, еще не остыло в Мани, еще беспокоит его внутри, как бурчание в животе.

Прозвучали молитвы по-древнееврейски, а теперь рабби Кац произносит хеспед, надгробное слово. Он решил взять широко, попытаться своей речью исцелить раздор в этой семье. Рейчел пришла ко мне, говорит он собравшимся, полгода назад, когда поняла, что скоро умрет. Она долго перед тем пребывала вдалеке от своего народа, от своей веры. Не один год. И не собиралась возвращаться. Но жизнь распорядится по-своему. И порой лишь когда ты знаешь, что она подходит к концу, ты способен ее осмыслить. Именно так было с Рейчел. Я уверен, она была бы очень довольна, если бы смогла увидеть вас всех сегодня, обе ветви семьи, еврейскую и нееврейскую, англоязычную и говорящую на африкаанс. Она сочла бы правильным, что все сошлись воздать ей дань. Да, мир безупречен, но в такие минуты он обретает цельность... и так далее и так далее. Вам понятна его мысль: Рейчел, бывало, совершала близорукий выбор и оставалась не удовлетворена, но в итоге вернулась к началу, замыкая круг. Рабби Каца завораживает математика, геометрические фигуры в особенности, и круг для него идеал настолько очевидный, что все расхождения должны перед ним померкнуть.

Движения его рук с короткими толстыми пальцами довольно однообразны, но голос приятно успокаивает, таким спокойным, ровным тоном говорят дантисты и стюардессы, и этот голос навеивает грезы. Многие из собравшихся уплыли куда-то мысленно, далеко от того, что он говорит. В противовес язычеству вокруг тетя Марина неслышно повторяет «Отче наш». Вера, чувствует она, разбухает в ней почти физически. Ох, фу. Рейчел ведь раковая опухоль убила, Оки много об этом думал, как бы она выглядела, если ее вынуть и поднять на свет? Резиново-красный сгусток вроде затычки для раковины или что-то более деликатное? Инородный объект в твоём теле, память об этом так свежа, что сами клетки приходят в волнение, и Астрид ерзает на жесткой скамье, ощущая увлажнение и непокой. Вчера у нее случился секс с Дином де Ветом в одном из стойл, и было чудесно, несмотря на запах свежего конского помета. Лошадь в соседнем стойле притоптывала и фыркала, под копытами шуршала солома. Дерьмо, думает Антон, бред сивой кобылы все, что ты говоришь, все до последнего слова. Это я ее убил. Выстрелил и убил ее в Катлехонге, никакой Бог ее безвременно не забирал. Тебе кажется, на свете есть порядок, тебе кажется, твои поступки что-то значат, будут напоследок взвешены и оценены, некий расчет будет произведен. Нет на самом деле никакого расчета. Человек умирает, и дело с концом.

Итак, говорит рабби в заключение, для Рейчел сознание близкой смерти стало началом новой жизни.

В конце скамьи, зажата между братом и сестрой, Амор совсем одна. Такое у нее ощущение. Никогда не была более одинока, чем в этом людском лесу. Нет ничего вокруг, ничего и никого, кроме деревянного ящика, внутри которого, но не думай об этом, не думай, что внутри. Ящик пустой, и у него четыре стороны, нет, шесть, нет, больше, но какая разница, если его закопают?

Правда в том, что мама умерла и лежит в этом ящике. При этой мысли мир начинает из твердого переходить в жидкое состояние. Она чувствует, как поползло, стекает. Стиснуть себя, свести бедра. Пусть это кончится.

Теперь все на ногах, чтобы петь. Но Амор опускается обратно на скамью, у нее внезапная слабость. Клонится сначала к Антону, потом резко в другую сторону, к сестре. Тянет Астрид за руку, побуждает сесть.

В чем дело?

Когда она в первый раз пытается это сказать, просто воздух выходит, как из проколотой шины.

Что? шипит Астрид в ответ, на лице недовольная гримаса.

По-моему, у меня...

Что?

Ну, это. Кровь. Там, внизу.

Астрид медленно моргает. Да ты что, серьезно? И у тебя ничего с собой нет? Она смотрит на младшую сестру, а потом наклоняется в другую сторону и тянет вниз тетю, чтобы ввести ее в курс дела. Шепчет ей на ухо.

Что? переспрашивает тетя Марина. Тс-с-с.

Астрид колеблется, затем пытается еще раз. Теперь она шепчет, пожалуй, слишком громко, так что женщина позади них, знакомая Рейчел со школьных лет, выходит из ностальгического забытья.

Ум Марины не сразу ухватывает, что ей сказано. Последняя менструация у нее была уже давно, вскоре после рождения последнего ребенка, и сейчас ей даже возможность такую вообразить неприятно. Но это мало того что возможно, это происходит прямо сейчас, в самый неподходящий момент, какой только бывает.

Должна тебе сказать, шепчет она яростно, что это очень эгоистично с ее стороны. У нее нет с собой?..

Астрид пожимает плечами. Она же не сторож сестре своей!

Теперь повсюду начали шаркать и откашливаться, и вперед выходят носильщики поднять гроб. Видимо, служба окончена, и снаружи формируется процессия, чтобы проводить покойницу в последний путь. Марина знает, что ей следовало бы помочь племяннице, но отойти сейчас – это будет ужас, это будет похоже на то, как Оки по ошибке стер с видеокассеты эпизод «Далласа», который она еще не посмотрела, тот самый, где выясняется, кто стрелял в Джона Росса. Так что она вместо этого берет Астрид за локоть и шепчет ей. Выведи ее наружу и посмотри за ней. Разберемся с этим потом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.